

Николай Добролюбов

# Когда же придет настоящий день?



Николай Александрович Добролюбов

## Когда же придет настоящий день?

«...мы можем сказать смело, что если уже г. Тургенев, тронул какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений, – это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно подымается или скоро подыметься в сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает выдаваться и скоро выкажется резко и ярко пред глазами всех. Поэтому, каждый раз при появлении повести г. Тургенева делается любопытным вопрос: какие же стороны жизни изображены в ней, какие вопросы затронуты?

Вопрос этот представляется и теперь, а в отношении к новой повести г. Тургенева он интереснее, чем когда-либо. До сих пор путь г. Тургенева, сообразно с путем развития нашего общества, был довольно ясно намечен одним направлением. Исходил он из сферы высших идей и теоретических стремлений и направлялся к тому, чтобы эти идеи в стремления внести в грубую и пошлую действительность, далеко от них уклонившуюся...»

# Содержание

#1 .....	0005
Примечания .....	0113

**Николай Александрович  
Добролюбов  
Когда же придет настоящий  
день?**

(«Накануне», повесть И. С. Тургенева.  
«Русский вестник», 1860 г., № 1–2)

*Schlage die Trommel und furchte dich  
nicht![1]  
Heine.{1}*

Эстетическая критика сделалась теперь принадлежностью чувствительных барышень. Из разговоров с ними служители чистого искусства могут почерпнуть много тонких и верных замечаний и затем написать критику в таком роде. «Вот содержание новой повести г. Тургенева (рассказ содержания). Уже из этого бледного очерка видно, как много тут жизни и поэзии самой свежей и благоуханной. Но только чтение самой повести может дать понятие о том чутье к тончайшим поэтическим оттенкам жизни, о том остром психическом анализе, о том глубоком понимании невидимых струй и течений общественной мысли, о том дружелюбном и вместе смелом отношении к действительности, которые составляют отличительные черты таланта г. Тургенева. Посмотрите, например, как тонко подмечены эти психические черты (повторение одной части из рассказа содержания и затем – выписка); прочтите эту чудную сцену, исполненную такой грации и прелести (выписка); припомните эту поэтическую, живую картину (выписка) или вот это высокое, смелое изображение (выписка). Не

правда ли, что это проникает, в глубину души, заставляет сердце ваше биться сильнее, оживляет и украшает вашу жизнь, возвышает перед вами человеческое достоинство и великое, вечное значение святых идей истины, добра и красоты! *Comme c'est joli, comme c'est délicieux!*»[2]

Малому знакомству с чувствительными барышнями одолжены мы тем, что не умеем писать таких приятных и безвредных критик. Откровенно признаваясь в этом и отказываясь от роли «воспитателя эстетического вкуса публики», – мы избираем другую задачу, более скромную и более соразмерную с нашими силами. Мы хотим просто подвести итог тем данным, которые рассеяны в произведении писателя и которые мы принимаем, как свершившийся факт, как жизненное явление, стоящее пред нами. Работа нехитрая, но нужная, потому что, за множеством занятий и отдыхов, редко кому придет охота самому всмотреться во все подробности литературного произведения, разобрать, проверить и поставить на свое место все цифры, из которых составляется этот сложный отчет об одной из

сторон нашей общественной жизни, и затем подумать об итоге и о том, что он обещает и к чему нас обязывает. А такого рода проверка и размышление очень небесполезны по поводу новой повести г. Тургенева.

Мы знаем, что чистые эстетики сейчас же обвинят нас в стремлении навязывать автору свои мнения и предписывать задачи его таланту. Поэтому оговоримся, хоть это и скучно. Нет, мы ничего автору не навязываем, мы заранее говорим, что не знаем, с какой целью, вследствие каких предварительных соображений изобразил он историю, составляющую содержание повести «Накануне». Для нас не столько важно то, что *хотел* сказать автор, сколько, то, что *сказалось* им, хотя бы и ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни. Мы дорожим всяким талантливym произведением именно потому, что в нем можем изучать факты нашей родной жизни, которая без того так мало открыта взору простого наблюдателя. В нашей жизни до сих пор нет публичности, кроме официальной; везде мы сталкиваемся не с живыми людьми, а с официальными лицами,

служащими по той или другой части: в присутственных местах – с чистописателями, на балах – с танцорами, в клубах – с картежниками, в театрах – с парикмахерскими пациентами и т. д. Всякий хоронит дальше свою душевную жизнь; всякий так и смотрит на вас, как будто говорит: «Ведь я сюда пришел, чтоб танцевать или чтоб прическу показать; ну, и будь доволен тем, что я делаю свое дело, и не вздумай, пожалуйста, выпытывать от меня мои чувства и понятия». И действительно, – никто никого не выпытывает, никто никем не интересуется, и все общество идет врозь, досадуя, что должно сходиться в официальных случаях, вроде новой оперы, званого обеда или какого-нибудь комитетского заседания. Где же тут узнать и изучить жизнь человеку, не посвятившему себя исключительно наблюдению общественных нравов? А тут еще какое разнообразие, какая даже противоположность в различных кругах и сословиях нашего общества! Мысли, сделавшиеся в одном круге уже пошлыми и отсталыми, в другом – еще жарко оспариваются; что у одних признается недостаточным и слабым, то дру-



гим кажется слишком резким и смелым и т. п. Что падает, что побеждает, что начинает водворяться и преобладать в нравственной жизни общества, – на это у нас нет другого показателя, кроме литературы, и преимущественно, художественных ее произведений. Писатель-художник, не заботясь ни о каких общих заключениях относительно состояния общественной мысли и нравственности, всегда умеет, однако же, уловить их существеннейшие черты, ярко осветить и прямо поставить их пред глазами людей размышляющих. Вот почему и полагаем мы, что как скоро в писателе-художнике признается талант, то есть умение чувствовать и изображать жизненную правду явлений, то, уже в силу этого самого признания, произведения его дают законный повод к рассуждениям о той среде жизни, о той эпохе, которая вызвала в писателе то или другое произведение. И меркою для таланта писателя будет здесь то, до какой степени широко захвачена им жизнь, в какой мере прочны и многообъятны те образы, которые им созданы.

Мы сочли нужным высказать это для того,

чтобы оправдать свой прием – толковать о явлениях самой жизни на основании литературного произведения, не навязывая, впрочем, автору никаких заранее сочиненных идей и задач. Читатель видит, что для нас именно те произведения и важны, в которых жизнь сказала сама собою, а не по заранее придуманной автором программе. О «Тысяче душ», например, мы вовсе не говорили, потому что, по нашему мнению, вся общественная сторона этого романа насильно пригнана к заранее сочиненной идее. Стало быть, тут не о чем и толковать, кроме того, в какой степени ловко составил автор свое сочинение. Положиться на правду и живую действительность фактов, изложенных автором, невозможно, потому что внутреннее отношение его к этим фактам не просто и не правдиво. Совсем не такие отношения автора к сюжету видим мы в новой повести г. Тургенева, как и в большей части его повестей. В «Накануне» мы видим неотразимое влияние естественного хода общественной жизни и мысли, которому невольно подчинилась сама мысль и воображение автора.

Поставляя главной задачей литературной критики – разъяснение тех явлений действительности, которые вызвали известное художественное произведение, мы должны заметить притом, что в приложении к повестям г. Тургенева эта задача имеет еще особенный смысл. Г. Тургенева по справедливости можно назвать представителем и певцом той морали и философии, которая господствовала в нашем образованном обществе в последнее двадцатилетие. Он быстро угадывал новые потребности, новые идеи, вносимые в общественное сознание, и в своих произведениях обыкновенно обращал (сколько позволяли обстоятельства) внимание на вопрос, стоявший на очереди и уже смутно начинавший волновать общество. Мы надеемся при другом случае проследить всю литературную деятельность г. Тургенева и потому теперь не станем распространяться об этом. Скажем только, что этому чутью автора к живым струнам общества, этому уменью тотчас отзываться на всякую благородную мысль и честное чувство, только что еще начинающее проникать в сознание лучших людей, мы

приписываем значительную долю того успеха, которым постоянно пользовался г. Тургенев в русской публике. Конечно, и литературный талант сам по себе много помог этому успеху. Но читатели наши знают, что талант г. Тургенева не из тех титанических талантов, которые, единственно силою поэтического представления, поражают, захватывают вас и влекут к сочувствию такому явлению или идее, которым вы вовсе не расположены сочувствовать, не бурная, порывистая сила, а напротив – мягкость и какая-то поэтическая умеренность служат характеристическими чертами его таланта. Поэтому мы полагаем, что он не мог бы вызвать общую симпатию публики, если бы касался вопросов, и потребностей, совершенно чуждых его читателям или еще не возбужденных в обществе. Некоторые заметили бы прелесть поэтических описаний в его повестях, тонкость и глубину в очертаниях разных лиц и положений, но, без всякого сомнения, этого было бы недостаточно для того, чтобы сделать прочный успех и славу писателю. Без живого отношения к современности всякий, даже самый симпа-

тичный и талантливый повествователь, должен подвергнуться участи г. Фета, которого и хвалили когда-то, но из которого теперь только десяток любителей помнит десяток лучших стихотворений. Живое отношение к современности спасло г. Тургенева и упрочило за ним постоянный успех в читающей публике. Некоторый глубокомысленный критик даже упрекал когда-то г. Тургенева за то, что в его деятельности так сильно отразились «все колебания общественной мысли»{2}. Но мы, несмотря на это, видим здесь именно самую жизненную сторону таланта г. Тургенева, и этой стороной объясняем, почему с такой симпатией, почти с энтузиазмом, встречалось до сих пор каждое его произведение.

Итак, мы можем сказать смело, что если уже г. Тургенев, тронул какой-нибудь вопрос в своей повести, если он изобразил какую-нибудь новую сторону общественных отношений, – это служит ручательством за то, что вопрос этот действительно подымается или скоро подымется в сознании образованного общества, что эта новая сторона жизни начинает выдаваться и скоро выкажется резко и яр-

ко пред глазами всех. Поэтому, каждый раз при появлении повести г. Тургенева делается любопытным вопрос: какие же стороны жизни изображены в ней, какие вопросы затронуты?

Вопрос этот представляется и теперь, а в отношении к новой повести г. Тургенева он интереснее, чем когда-либо. До сих пор путь г. Тургенева, сообразно с путем развития нашего общества, был довольно ясно намечен одним направлением. Исходил он из сферы высших идей и теоретических стремлений и направлялся к тому, чтобы эти идеи в стремления внести в грубую и пошлую действительность, далеко от них уклонившуюся. Сборы на борьбу и страдания героя, хлопотавшего о победе своих начал, и его падение пред подавляющею силою людской пошлости – и составляли обыкновенно интерес повестей г. Тургенева. Разумеется, самые основания борьбы, то есть идеи и стремления, – видоизменялись в каждом произведении или, с течением времени и обстоятельств, выказывались более определенно и резко. Таким образом, лишнего человека сменял Пасынков, Пасын-

кова – Рудин, Рудина – Лаврецкий. Каждое из этих лиц было смелее и полнее предыдущих, но сущность, основа их характера и всего их существования была одна и та же. Они были вносители новых идей в известный круг, проповедники, пропагандисты, – хоть для одной женской души, да пропагандисты. За это их очень хвалили, и точно – в свое время они, видно, очень нужны были, и дело их было очень трудно, почтенно и благотворно. Недаром же все встречали их с такой любовью, так сочувствовали их душевным страданиям, так жалели об их бесплодных усилиях. Недаром никто тогда и не думал заметить, что все эти господа – отличные, благородные, умные, но, в сущности, бездельные люди. Рисуя их образы в разных положениях и столкновениях, сам г. Тургенев относился к ним обыкновенно с трогательным участием, с сердечной болью об их страданиях и то же чувство возбуждал постоянно в массе читателей. Когда один мотив этой борьбы и страданий начал казаться уже недостаточным, когда одна черта благородства и возвышенности характера начинала как будто покрываться некото-

рой пошлостью, г. Тургенев умел находить другие мотивы, другие черты, и опять попал в самое сердце читателя, и опять возбуждал к себе и своим героям восторженную симпатию. Предмет казался неистощимым.

Но в последнее время в нашем обществе обнаружилось довольно заметно требования, совершенно отличные от тех, которыми вызван был к жизни Рудин и вся его братия. В отношении к этим лицам в понятиях образованного большинства произошло коренное изменение. Вопрос пошел уже не о видоизменении тех или других мотивов, тех или других начал их стремлений, а о самой сущности их деятельности. В течение того периода времени, пока рисовались перед нами все эти просвещенные поборники истины и добра, красноречивые страдальцы возвышенных убеждений, подросли новые люди, для которых любовь к истине и честность стремлений уже не в диковинку. Они с детства, не приметно и постоянно, напивывались теми понятиями и стремлениями, для которых прежде лучшие люди должны были бороться, сомневаться и страдать в зрелом возрасте[3]. Поэтому



самый характер образования в нынешнем молодом обществе получил другой цвет. Те понятия и стремления, которые прежде давали титул передового человека, теперь уже считаются первой и необходимой принадлежностью самой обыкновенной образованности. От гимназиста, от посредственного кадета, даже иногда от порядочного семинариста вы услышите ныне выражение таких убеждений, за которые в прежнее время должен был спорить и горячиться, например, Белинский. И гимназист или кадет высказывают эти понятия, — так трудно, с бою доставшиеся прежде, — совершенно спокойно, без всякого азарта и самодовольства, как вещь, которая иначе и быть не может, и даже немислима иначе.

Встречая человека так называемого прогрессивного направления, теперь никто из порядочных людей уже не предается удивлению и восторгу, никто не смотрит ему в глаза с немым благоговением, не жмет ему таинственно руки и не приглашает шепотом к себе, в кружок избранных людей, — поговорить о том, что неправосудие и рабство губельны

для государства. Напротив, теперь с невольным, презрительным изумлением останавливаются пред человеком, который выказывает недостаток сочувствия к гласности; бескорыстию, эманципации и т. д. Теперь даже люди, в душе не любящие прогрессивных идей, должны показывать вид, что любят их, для того чтобы иметь доступ в порядочное общество. Ясно, что при таком положении дел прежние сеятели добра, люди *рудинского* закала, теряют значительную долю своего прежнего кредита. Их уважают, как старых наставников; но редко кто, вошедши в свой разум, расположен выслушивать опять те уроки, которые с такою жадностью принимались прежде, в возрасте детства и первоначального развития. Нужно уже нечто другое, нужно идти дальше[4].

«Но, скажут нам, ведь общество не дошло же до крайней точки в своем развитии; возможно дальнейшее совершенствование умственное и нравственное. Стало быть, нужны для общества и руководители, проповедники истины, и пропагандисты, словом – люди *рудинского* типа. Все прежнее принято и вошло

в общее сознание, – положим. Но это не исключает возможности того, что явятся новые Рудины, проповедники новых, высших тенденций, и опять будут бороться и страдать, и опять возбуждать к себе симпатию общества. Предмет этот действительно неистощим в своем содержании и постоянно может приносить новые лавры такому симпатичному писателю, как г. Тургенев».

Жалко было бы, если бы подобное замечание оправдалось именно теперь. К счастью, оно, кажется, опровергается последним движением литературы нашей. Рассуждая отвлеченно, нельзя не сознаться, что мысль о вечном движении и вечной смене идей в обществе, – а следовательно, и о постоянной необходимости проповедников этих идей – вполне справедлива. Но ведь нужно же принять во внимание и то, что общества живут не затем только, чтоб рассуждать и меняться идеями. Идеи и их постепенное развитие только потому и имеют свое значение, что они, рождаясь из существующих уже фактов, всегда предшествуют изменениям в самой действительности. Известное положение дел создает

в обществе потребность, потребность эта сознается, вслед за общим сознанием ее должна явиться фактическая перемена в пользу удовлетворения признанной всеми потребности. Таким образом, после периода *сознавания* известных идей и стремлений должен являться в обществе период их *осуществления*; за размышлениями и разговорами должно следовать дело. Спрашивается теперь: что же делало наше общество в последние 20–30 лет? Покамест ничего. Оно училось, развивалось, слушало Рудиных, сочувствовало их неудачам в благородной борьбе за убеждения, готовилось к делу, но ничего не делало... В голове и сердце накопилось так много прекрасного; в существующем порядке дел замечено так много нелепого и бесчестного; масса людей, «сознающих себя выше окружающей действительности», растет с каждым годом, — так что скоро, пожалуй, все будут выше действительности... Кажется, нечего желать, чтоб мы продолжали вечно идти этим томительным путем разлада, сомнения и отвлеченных горестей и утешений. Кажется, ясно, что теперь нужны нам не такие люди, кото-

рые бы еще более «возвышали нас над окружающей действительностью», а такие, которые бы подняли – или нас научили поднять – самую действительность до уровня тех разумных требований, какие мы уже сознали. Словом, нужны люди дела, а не отвлеченных, всегда немножко эпикурейских, рассуждений.

Сознание этого хотя смутно, но уже во многих выразилось при появлении «Дворянского гнезда». Талант г. Тургенева, вместе с его верным тактом действительности, вынес его и на этот раз с торжеством из трудного положения. Он умел поставить Лаврецкого так, что над ним неловко иронизировать, хотя он и принадлежит к тому же роду бездельных типов, на которые мы смотрим с усмешкой. Драматизм его положения заключается уже не в борьбе с собственным бессилием, а в столкновении с такими понятиями и нравами, с которыми борьба действительно должна утратить даже энергического и смелого человека. Он женат и отступился от своей жены; но он любил чистое, светлое существо, воспитанное в таких понятиях, при которых

любовь к женатому человеку есть ужасное преступление. А между тем она его тоже любит, и его притязания могут беспрерывно и страшно терзать ее сердце и совесть. Над таким положением поневоле задумаешься горько и тяжело, и мы помним, как болезненно сжалось наше сердце, когда Лаврецкий, прощаясь с Лизой, сказал ей: «Ах, Лиза, Лиза! как бы мы могли быть счастливы!» – и когда она, уже смиренная монахиня в душе, ответила: «Вы сами видите, что счастье зависит не от нас, а от бога», и он начал было: «Да потому что вы...», и не договорил... Читатели и критики «Дворянского гнезда», помнится, восхищались многим другим в этом романе. Но для нас существеннейший интерес его заключается в этом трагическом столкновении Лаврецкого, пассивность которого именно в этом случае мы не можем не извинить. Здесь Лаврецкий, как будто изменяя одной из родовых черт своего типа, почти не является даже пропагандистом. Начиная с первой встречи с Лизой, когда она шла к обедне, он во всем романе робко склоняется пред незыблемостью ее понятий и ни разу не смеет приступить к

ней с холодными разуверениями. Но и это, конечно, потому, что здесь пропаганда была бы самым делом, которого Лаврецкий, как и вся его братия, боится. При всем том, нам кажется (по крайней мере казалось при чтении романа), что самое положение Лаврецкого, самая коллизия, избранная г. Тургеневым и столь знакомая русской жизни, должны служить сильною пропагандою и наводить каждого читателя на ряд мыслей о значении целого огромного отдела понятий, заправляющих нашей жизнью. Теперь, по разным печатным и словесным отзывам, мы знаем, что были не совсем правы: смысл положения Лаврецкого был понят иначе или совсем не выяснен многими читателями. Но что в нем есть что-то законно-трагическое, а не призрачное, — это было понято, и это вместе с достоинствами исполнения привлекло к «Дворянскому гнезду» единодушное, восторженное участие всей читающей русской публики.

После «Дворянского гнезда» можно было опасаться за судьбу нового произведения г. Тургенева. Путь создания возвышенных характеров, принужденных смиряться под уда-

рами рока, сделался очень скользким. Посреди восторгов от «Дворянского гнезда» слышались и голоса, выражавшие неудовольствие на Лаврецкого, от которого ожидали больше. Сам автор счел нужным ввести в свой рассказ Михалевича затем, чтобы тот обругал Лаврецкого байбаком. А Илья Ильич Обломов, появившийся в то же время, окончательно и резко объяснил всей русской публике, что теперь человеку бессильному и безвольному лучше уж и не смешить людей, лучше лежать на своем диване, нежели бегать, суетиться, шуметь, рассуждать и переливать из пустого в порожнее целые годы и десятки лет. Прочитавши Обломова, публика поняла его родство с интересными личностями «лишних людей» и сообразила, что эти люди теперь уж действительно лишние и что от них толку ровно столько же, сколько и от добрейшего Ильи Ильича. «Что же теперь создаст г. Тургенев?» – думали мы и с большим любопытством принялись читать «Накануне».

Чутье настоящей минуты и на этот раз не обмануло автора. Сознавши, что прежние герои уже сделали свое дело и не могут возбуж-



дать прежней симпатии в лучшей части нашего общества, он решился оставить их и, уловивши в нескольких отрывочных проявлениях веяние новых требований жизни, попробовал стать на дорогу, по которой совершается передовое движение настоящего времени...

В новой повести г. Тургенева мы встречаем другие положения, другие типы, нежели к каким привыкли в его произведениях, прежнего периода. Общественная потребность дела, живого дела, начало презрения к мертвым, абстрактным принципам и пассивным добродетелям выразилось во всем строе новой повести. Без сомнения, каждый, кто будет читать нашу статью, уже прочитал теперь «Накануне». Поэтому мы вместо рассказа содержания повести представим только коротенький очерк главных ее характеров.

Героиней романа является девушка, с серьезным складом ума, с энергической волей, с гуманными стремлениями сердца. Развитие ее совершилось очень своеобразно благодаря особенным обстоятельствам семейным.

Отец и мать ее были люди очень ограни-

ченные, но не злые; мать даже положительно отличалась добротой и мягкостью сердца. С самого детства Елена была избавлена от семейного деспотизма, который губит в зародыше так много прекрасных натур. Она росла одна, без подруг, совершенно свободно; никакой формализм не стеснял ее. Николай Артемьевич Стахов, отец ее, человек туповатый, но корчивший из себя философа скептического тона и державшийся подальше от семейной жизни, сначала только восхищался своей маленькой Еленой, в которой рано обнаружились необыкновенные способности. Елена, пока была мала, тоже с своей стороны обожала отца. Но отношения Стахова к жене были не совсем удовлетворительны: он женился на Анне Васильевне из-за ее приданого, не питал к ней никакого чувства, обходился с нею почти с пренебрежением и удалялся от нее в общество Августины Христиановны, которая его обирала и дурачила. Анна Васильевна, больная и чувствительная женщина, вроде Марьи Дмитриевны «Дворянского гнезда», кротко переносила свое положение, но не могла на него не жаловаться всем в доме и

между прочим даже дочери. Таким образом, Елена скоро сделалась поверенною горестей своей матери и становилась невольно судьей между ней и отцом. При впечатлительности ее натуры это имело большое влияние на развитие ее внутренних сил. Чем менее она могла действовать практически в этом случае, тем более представлялось работы ее уму и воображению. Принужденная с ранних лет всматриваться во взаимные отношения близких ей людей, участвуя и сердцем и головой в разъяснении смысла этих отношений и произнесении суда над ними, Елена рано приучила себя к самостоятельному размышлению, к сознательному взгляду на все окружающее. Семейные отношения Стаховых очеркнуты у г. Тургенева очень бегло, но в этом очерке есть глубоко верные указания, весьма много объясняющие первоначальное развитие характера Елены. По натуре своей она была ребенком впечатлительным и умным; положение ее между матерью и отцом рано вызвало ее на серьезные размышления, рано подняло ее до самостоятельной, до властительной роли. Она становилась в уровень с

старшими, делала их подсудимыми пред собою. И в то же время размышления ее не были холодны, с ними сливалась вся душа ее, потому что дело шло о людях слишком близких, слишком дорогих для нее, об отношениях, с которыми связаны были самые святые чувства, самые живые интересы девочки. Оттого-то ее размышления прямо отражались на ее сердечном расположении: от обожания отца она перешла к страстной привязанности к матери, в которой она стала видеть существо притесненное, страдающее. Но в этой любви к матери не было ничего враждебного к отцу, который не был ни злодеем, ни положительным дураком, ни домашним тираном. Он был только весьма обыкновенной посредственностью, и Елена охладела к нему, — инстинктивно, а потом, может, и сознательно, решивши, что любить его не за что. Да скоро ту же посредственность увидела она и в матери, и в сердце ее, вместо страстной любви и уважения, осталось лишь чувство сожаления и снисхождения. Г. Тургенев очень удачно очертил ее отношения к матери, сказавши, что она «обходилась с матерью, как с больной

бабушкой». Мать признала себя ниже дочери; отец же, как только дочь стала перерастать его умственно, что было очень нетрудно, охладел к ней, решил, что она странная, и отступился от нее.

А в ней между тем все росло и расширялось сострадательное, гуманное чувство. Боль о чужом страдании была возбуждена в ее ребяческом сердце убитым видом матери, конечно, еще прежде, нежели она стала понимать хорошенько, в чем дело. Эта боль давала ей себя чувствовать постоянно, сопровождала ее при каждом новом шаге ее развития, придавала особенный, задумчиво-серьезный склад ее мыслям, мало-помалу вызвала и определила в ней деятельные стремления и все их направила к страстному, неодолимому исканию добра и счастья для всех. Еще смутны были эти искания, слабы силы Елены, когда она нашла новую пищу для своих размышлений и мечтаний, новый предмет своего участия и любви – в странном знакомстве с нищей девочкой Катей. На десятом году подружились она с этой девочкой, тайком ходила к ней на свидание в сад, приносила ей ла-

комства, дарила ей платки, гривеннички (игрушек Катя не брала), сидела с ней по целым часам, с чувством радостного смирения ела ее черствый хлеб; слушала ее рассказы, выучилась ее любимой песенке, с тайным уважением и страхом слушала, как Катя обещалась убежать от своей злой тетки, чтобы жить *на всей божьей воле*, и сама мечтала о том, как она наденет сумку и убежит с Катей. Катя скоро умерла, но знакомство с ней не могло не оставить резких следов в характере Елены. К ее чистым, человеческим, сострадательным расположениям оно прибавило еще новую сторону: оно внушило ей то презрение или по крайней мере то строгое равнодушие к ненужным излишествам богатой жизни, которое всегда проникает душу не совсем испорченного человека ввиду беспомощной нищеты. Скоро вся душа Елены загорелась жаждою деятельного добра, и жажда эта стала на первый раз удовлетворяться обычными делами милосердия, какие возможны были для Елены. «Нищие, голодные, больные ее занимали, тревожили, мучили; она видела их во сне, спрашивала о них всех своих знако-

мых». Даже «все притесненные животные, худые дворовые собаки, осужденные на смерть котята, выпавшие из гнезда воробьи, даже насекомые и гады находили в Елене покровительство и защиту: она сама кормила их, не гнушалась ими». Отец ее называл все это пошлым нежничаньем; но Елена не была сентиментальна, потому что сентиментальность именно характеризуется избытком чувств и слов при совершенном недостатке деятельной любви, а чувство Елены постоянно стремилось проявиться на деле. Пустых ласк и нежностей она не терпела и вообще не придавала значения словам без дела и уважала только практически-полезную деятельность. Даже стихов она не любила, даже в искусствах толку не знала.

Но деятельные стремления души зреют и крепнут только при деятельности просторной и вольной. Надо испробовать несколько раз свои силы, испытать неудачи и столкновения, узнать, чего стоят разные усилия и как преодолеваются разные препятствия, — для того, чтобы приобрести отвагу и решимость, необходимые для деятельной борьбы, чтобы

узнать меру своих сил и уметь найти для них соответственную работу, Елена, при всей свободе своего развития, не могла найти достаточно средств для того, чтобы деятельно упражнять свои силы и удовлетворять свои стремления. Ей никто не мешал делать, что она хочет; но делать было нечего. Ее не стесняли педантизмом систематического ученья, и потому она успела образоваться, не принявши в себя множество предрассудков, неразлучных с системами, курсами и вообще с рутиною образования. Она много и с участием читала; но одно чтение не могло удовлетворять ее; оно имело только то влияние, что рассудочная сторона развилась в Елене сильнее других и умственная требовательность стала пересиливать даже живые стремления сердца. Подавание милостыни, уход за щенками и котятами, защита мухи от паука – тоже не могли удовлетворить ее: когда она стала побольше и поумнее, она не могла не увидеть всю скудость этой деятельности; да притом – эти занятия требовали от нее весьма мало усилий и не могли наполнять ее существования. Ей нужно было чего-то больше, чего-то



выше; но чего – она не знала, а если и знала, то не умела приняться за дело. От этого и находилась она постоянно в какой-то ажитации, все ждала и искала чего-то; от этого и наружность ее приняла такой особенный характер. «Во всем ее существе, в выражении лица, *внимательном и немного пугливом, в ясном, но изменчивом взоре, в улыбке, как будто напряженной, в голосе тихом и неровном,* было что-то нервическое, электрическое, что-то *порывистое и торопливое*»... Ясно, что она еще находится в неопределенных сомнениях относительно самой себя, она еще не определила своей роли. Она поняла, чего ей не нужно, и смотрит гордо и независимо на обычную обстановку своей жизни; но что ей нужно, и главное – что делать, чтобы достигнуть того, что нужно, – этого она еще не знает, и потому все существо ее напряженно, неровно, порывисто. Она все ждет, все живет накануне чего-то... Она готова к самой живой, энергичной деятельности, но приступить к делу сама по себе, одна – она не смеет.

Эта несмелость, эта практическая пассивность героини, при богатстве внутренних сил

и при томительной жажде деятельности, невольно, поражает нас и в самом лице Елены, заставляет видеть что-то недоделанное. Но в этой недоделанности личности, в недостатке, практической роли – мы и видим живую связь героини г. Тургенева со всем нашим образованным обществом. По тому, как задуман характер Елены, в его основе она представляет явление исключительное, и если бы на самом деле она являлась везде выразительницею своих воззрений и стремлений – она бы оказалась чуждою русскому обществу и не имела бы для нас такого смысла, как теперь. Она была бы лицом сочиненным, растением, неудачно пересаженным на нашу почву откуда-нибудь из другой земли. Но верное чутье действительности не позволило г. Тургеневу придать своей героине полного соответствия практической деятельности с теоретическими ее понятиями и внутренними порывами души. На это еще не дает писателю материалов наша общественная жизнь. Во всем нашем обществе заметно теперь только еще пробудившееся желание приняться за настоящее дело, сознание пошлости раз-

ных красивых игрушек, возвышенных рассуждений и неподвижных форм, которыми мы так долго себя тешили и дурачили. Но мы еще все-таки не вышли из той сферы, в которой так спокойно было нам спать, да и не знаем хорошенько, где выход; а если кто и узнает, то еще боится открыть его. Это трудное, томительное переходное положение общества необходимо кладет свою печать и на художественное произведение, вышедшее из среды его. В обществе могут быть отдельные сильные натуры, отдельные лица могут достигать высокого развития нравственного; вот и в литературных, произведениях являются такие личности. Но все это так и остается только в очерке натуры лица, а в жизнь не переносится; предполагается: возможным, но в действительности не совершается. В Ольге «Обломова» – мы видели женщину идеальную, далеко ушедшую в своем развитии от всего остального общества; но где ее практическая деятельность? Она способна, кажется, создать новую жизнь, а живет между тем в той же пошлости, в какой и все ее подружки, потому что от этой пошлости некуда уйти ей. Штольц ей

нравится, как энергическая, деятельная натура; а между тем и он, при всем искусстве автора «Обломова» в обрисовке характеров, является пред нами только со своими способностями и не дает видеть, как он их применяет; он лишен почвы под ногами и плавает перед нами как будто в каком-то тумане. Теперь в Елене г. Тургенева мы видим новую попытку создания энергического, деятельного характера и не можем сказать, чтобы обрисовка самого характера не удалась автору. Если и редко кому случалось встречать таких женщин, как Елена, зато, конечно, многим приходилось замечать в самых обыкновенных женщинах зародыши тех или других существенных черт ее характера, возможность развития многих из ее стремлений. Как идеальное лицо, составленное из лучших элементов, развивающихся в нашем обществе, Елена понятна и близка нам. Самые стремления ее определяются для нас очень ясно; Елена как будто служит ответом на вопросы и сомнения Ольги, которая, поживши с Штольцем, томится и тоскует и сама не может дать себе отчета – о чем. В образе Елены объясняется причи-

на этой тоски, необходимо поражающей всякого порядочного русского человека, как бы ни хороши были его собственные обстоятельства. Елена жаждет деятельного добра, она ищет возможности устроить счастье вокруг себя, потому что не понимает возможности не только счастья, но даже и спокойствия собственного, если ее окружает горе, несчастья, бедность и унижение ее ближних.

Но какую же деятельность, сообразную с такими внутренними требованиями, мог дать г. Тургенев своей героине? На это даже и отвлеченным образом трудно ответить; а художественно создать эту деятельность, вероятно, еще и невозможно для русского писателя настоящего времени. Неоткуда взять деятельности, и поневоле автор заставил свою героиню дешевым образом проявлять свои высокие стремления в подаче милостыни да в спасении заброшенных котят. За деятельность, требующую большего напряжения и борьбы, она и не умеет и боится приняться. Она видит во всем окружающем, что одно давит другое, и потому, именно вследствие своего гуманного, сердечного развития, старает-

ся держаться в стороне от всего, чтобы как-нибудь тоже не начать давить других. В доме ни в чем не заметно ее влияние: отец и мать ей как чужие; они боятся ее авторитета, но никогда она не обратится к ним с советом, указанием или требованием. Для нее живет в доме компаньонка Зоя, молодая добродушная немка; Елена от нее сторонится, почти не говорит с ней, и отношения их очень холодны. Тут же проживает Шубин, молодой художник, о котором мы сейчас будем говорить. Елена уничтожает его своими строгими приговорами, но и не думает постараться приобрести над ним какое-нибудь влияние, которое было бы ему очень полезно. Во всей повести нет ни одного случая, где бы жажда деятельного добра заставила Елену вмешаться в дела окружающей ее среды и проявить чем-нибудь свое влияние. Мы не думаем, чтоб это зависело от случайной ошибки автора; нет, в нашем обществе еще очень недавно, да и не между женщинами, а из среды мужчин возвышался и блистал особенный тип людей, гордившихся своим устранением от окружающей их среды. «Тут невозможно сохранить

себя чистым, – говорили они, – и притом вся эта среда так мелка и пошла, что лучше удалиться от нее в сторону». И они, точно, удалялись, не сделав ни одной энергической попытки для исправления этой пошлой среды, и удаление их считалось единственным честным выходом из их положения, и прославлялось как подвиг. Естественно, что, имея в виду такие примеры и понятия, автор не мог лучше осветить домашнюю жизнь Елены, как поставив ее совершенно в стороне от этой жизни. Впрочем, как мы сказали, бессилию Елены придан в повести особенный мотив, вытекающий из ее женственного, гуманного чувства: она боится всяких столкновений, – не по недостатку мужества, а из опасения нанести кому-нибудь оскорбление и вред. Никогда не испытав полной, деятельной жизни, она воображает еще, что ее идеалы могут быть достигнуты без борьбы, без ущерба кому бы то ни было. После одного случая (когда Инсаров героически бросил в воду пьяного немца) она писала в своем дневнике: «Да, с – ним шутить нельзя, и заступиться он умеет. Но к чему же эта злоба, эти дрожащие губы, этот

яд в глазах? Или, может быть, иначе нельзя? Нельзя быть мужчиной, бойцом и остаться кротким и мягким?» Эта простая мысль пришла ей в голову только теперь, да и то еще в виде вопроса, которого она так и не разрешает. В этой-то неопределенности, в этом бездействии при непрерывном томительном ожидании чего-то, доживает Елена до двадцатого года своей жизни. По временам ей очень тяжело; она сознает, что силы ее пропадают даром, что жизнь ее пуста; она говорит про себя: «Хоть бы в служанки куда-нибудь пошла, право; мне было бы легче». Это тяжкое расположение увеличивается в ней тем, что она ни в ком не находит отзыва на свои чувства, ни в ком не видит опоры для себя. «Иногда ей кажется, что она желает чего-то, чего никто не желает, о чем никто не мыслит в целой России»... Ей становится страшно, и потребность сочувствия развивается сильнее, и она напряженно и трепетно ждет другой души, которая бы умела понять ее, отозваться на ее святые чувства, помочь ей, научить ее, что надо делать. В ней являлось желание отжаться кому-нибудь, слить с кем-нибудь свое



существо, и ей становилась неприятною даже эта самостоятельность, с которою она так одиноко стояла в кругу близких ей людей. «Шестнадцатилетнего возраста она жила собственною своею жизнью, но жизнью одинокою. Ее душа разгоралась и погасала одиноко, она билась, как птица в клетке, а клетки не было; никто не стеснял ее; никто не удерживал, а она рвалась и томилась. Она иногда сама себя не понимала, даже боялась сама себя. Все, что окружало ее, казалось ей не то бессмысленным, не то непонятным. «Как жить без любви, а любить некого, – думала она, и страшно становилось ей от этих дум, от этих ощущений».

При таком-то настроении ее сердца, летом, на даче в Кунцове, застает ее действие повести. В короткий промежуток времени являются пред нею три человека, из которых один привлекает к себе всю ее душу. Тут есть, впрочем, и четвертый, эпизодически введенный, но тоже не лишний господин, которого мы тоже будем считать. Трое из этих господ – русские, четвертый – болгар, и в нем-то нашла свой идеал Елена. Посмотрим на всех этих

Господ.

Один из молодых людей, страстно по-своему влюбленный в Елену, — художник Павел Яковлич Шубин, хорошенький и грациозный юноша лет 25, добродушный и остроумный, веселый и страстный, беспечный и талантливый. Он доводится троюродным племянником Анне Васильевне, матери Елены, и потому очень близок с молодой девушкой и надеется заслужить ее серьезное расположение. Но она постоянно смотрит на него свысока и считает его неглупым, но балованным ребенком, с которым нельзя обращаться серьезно. Впрочем, Шубин говорит своему другу: «Было время, я ей нравился», и действительно, у него много условий для того, чтобы нравиться; не мудрено, что и Елена на минуту придавала более значения его хорошим сторонам, нежели его недостаткам. Но скоро она увидела художественность этой натуры, увидела, что здесь все зависит от минуты, ничего нет постоянного и надежного, весь организм составлен из противоречий: лень заглушает способности, а даром потраченное время вызывает потом бесплодное раскаяние, подыма-

ет желчь, возбуждает презрение к самому себе, которое в свою очередь служит утешением в неудачах и заставляет, гордиться и любоваться собою. Все это Елена поняла инстинктивно, без тяжелых мук недоумения, и потому решение ее относительно Шубина совершенно спокойно и беззлобно. «Вы воображаете, что во мне все притворно; вы не верите моему раскаянию, не верите, что я могу искренно плакать!» – говорит ей однажды Шубин в отчаянном порыве. И она не отвечает: «Не верю», а говорит просто: «Нет, Павел Яковлич, я верю в ваше раскаяние, и в ваши слезы я верю, но мне кажется, самое ваше раскаяние вас забавляет, да и слезы тоже». Шубин так и дрогнул от этого простого приговора, который действительно должен был глубоко вонзиться в его сердце. Он сам никогда не предполагал, чтоб его порывы, противоречия, страдания, метанья из стороны в сторону – можно было понять и объяснить так просто и верно. При этом объяснении он даже перестает делаться «интересным человеком». И действительно, как только Елена составила о нем мнение – он уже не занимает ее. Ей все

равно – тут он или нет, помнит о ней или забыл, любит ее или ненавидит; у ней с ним ничего нет общего, хотя она не прочь искренно похвалить его, если он сделает что-нибудь достойное его таланта...

Другой начинает занимать ее мысли. Этот совершенно в ином роде; он неуклюж, старообраз, лицо его некрасиво и даже несколько смешно, но выражает привычку мыслить и доброту. Кроме того, по словам автора, какой-то «отпечаток порядочности замечался во всем его неуклюжем существе». Это Андрей Петрович Берсенеv, близкий друг Шубина. Он философ, ученый, читает историю Гогенштауфенов и другие немецкие книжки и исполнен скромности и самоотвержения. На возгласы Шубина: «Нам нужно счастья, счастья! Мы завоюем себе счастье!» – он недоверчиво возражает: «Будто нет ничего выше счастья?» – и затем между ними происходит такой разговор:

*– А например? – спросил Шубин и остановился.*

*– Да вот, например, мы с тобой, как ты говоришь, – молоды, мы хорошие*

люди, положим, каждый из нас желает себе счастья. Но такое ли это слово «счастье», которое соединило, воспламенило бы нас обоих, заставило бы подать друг другу руки? Не эгоистическое ли, я хочу сказать, не разъединяющее ли это слово?

– А ты знаешь такие слова, которые соединяют?

– Да; и их не мало; и ты их знаешь.

– Ну-ка, какие это слова?

– Да хоть бы искусство, так как ты художник; родина, наука, свобода, справедливость.

– И любовь? – спросил Шубин.

– И любовь – соединяющее слово; но не та любовь, которой ты теперь жаждешь: не любовь-наслаждение, любовь-жертва.

Шубин нахмурился.

– Это хорошо для немцев; я хочу любить для себя; я хочу быть номером первым.

– Номером первым, – повторил Берснев. – А мне кажется поставить себя номером вторым – все назначение нашей жизни.

– Если все так будут поступать, как

*ты советуешь, – промолвил с жалобной гримасой Шубин, – никто на земле не будет есть ананасов; все другим их предоставлять будут.*

*– Значит, ананасы не нужны; а впрочем, не бойся: всегда найдутся любители даже хлеб от чужого рта отнимать.*

Из этого разговора видно, какие благородные принципы у Берсенева и как душа его способна к тому, что называется самоотвержением. Он выражает искреннюю готовность пожертвовать своим счастьем для одного из тех слов, которые он называет «соединяющими». Этим он должен привлечь сочувствие такой девушки, как Елена. Но тут же видно и то, почему он не может овладеть всею ее душою, всей полнотою ее жизни. Это один из героев пассивных добродетелей, человек, умеющий многое перенести, многим пожертвовать, вообще выказать благородное поведение, когда приведет к тому случай; но он не сумеет и не посмеет определить себя на широкую и смелую деятельность, на вольную борьбу, на самостоятельную роль в каком-нибудь деле. Он

сам хочет быть номером вторым, потому что в этом видит назначение всего живущего; и действительно, роль его в повести напоминает отчасти Бизьменкова в «Лишнем человеке» и еще более Крупицына в «Двух приятелях». Он, влюбленный в Елену, становится посредником между ею и Инсаровым, которого она любила, великодушно помогает им, ухаживает за Инсаровым во время его болезни, отказывается от своего счастья в пользу друга, хотя и не без стеснения сердца, и даже не без ропота. Сердце у него доброе и любящее, но из всего видно, что добро он всегда будет делать не столько по влечению сердца, сколько потому, что *надо* делать добро. Он находит, что надо жертвовать своим счастьем для родины, науки и пр., и этим самым он осуждает себя быть вечным рабом и мучеником идеи. Он отделяет свое счастье, например, от родины; он, бедняк, не умеет возвыситься до того, чтобы понять благо родины не отдельно с своим собственным счастьем и чтобы не понимать счастья для себя иначе, как при благоденствии родины. Напротив, он как будто боится, что его личное счастье бу-

дет мешать благу родины, торжеству справедливости, успехам науки и т. п. Оттого он боится желать себе счастья и, по благородству своих принципов, решается жертвовать им для означенных им идей, считая это, разумеется, большим одолжением с своей стороны. Ясно, что такого человека только и хватит на пассивное благородство. Но не ему слиться душой с каким-нибудь великим делом, не ему позабыть весь мир для любимой мысли, не ему воспламениться ею и сражаться за нее, как за свою радость, свою жизнь, за свое счастье... Он делает то; что велит ему долг, стремится к тому, что признает справедливым по принципу; но действия его вялы, холодны, неуверенны, потому что он постоянно сомневается в своих силах. Он отлично кончил курс в университете, любит науку, занимается постоянно и желает быть профессором: кажется, чего проще? Но, когда Елена спрашивает его о профессорстве, он считает нужным с похвальной скромностью оговориться: «Конечно, я очень хорошо знаю все, чего мне недостает для того, чтобы быть достойным такого высокого... Я хочу сказать, что я слишком мало



подготовлен; но я надеюсь получить позволение съездить за границу»... Точь-в-точь вступление к академической речи: «Надеюсь, мм. гг., что вы благосклонно извините сухость и бледность моего изложения» и пр...

А между тем профессорство, о котором Берсенеv так отзывается, составляет заветную мечту его! На вопрос Елены, будет ли он вполне доволен своим положением, если получит кафедру, – он отвечает: «Вполне, Елена Николаевна, вполне. Какое же может быть лучше призвание? Подумайте, пойти по следам Тимофея Николаевича...{3} Одна мысль о подобной деятельности наполняет меня радостью и смущением... да, смущением, которого... которое происходит от сознания моих малых сил». То же сознание своих малых сил заставляет его упорно не верить тому, что Елена его любила, а потом сокрушаться, что она к нему стала равнодушна. Это самое сознание проглядывает и в том, когда он рекомендует своего приятеля Инсарова между прочим тем, что он денег займы не берет. Тем же сознанием отзываются даже его рассуждения о природе. Он говорит, что природа возбуждает

в нем какое-то беспокойство, тревогу, даже грусть, и спрашивает Шубина: «Что это значит? Сильнее ли мы сознаем перед нею, перед ее лицом, всю нашу неполноту, нашу неясность, или же мало того, удовлетворения, каким она довольствуется, а другого, то есть, я хочу сказать – того, чего нам нужно, у нее нет?» В этом пустопорожне-романтическом роде большая часть рассуждений Берсенева. А между тем в одном месте повести упоминается, что он рассуждал о Фейербахе: вот любопытно бы послушать, что он о Фейербахе-то говорит!..

Итак, Берсенев – весьма хороший русский дворянин, воспитанный в началах долга и пустившийся потом в ученость и философию. Он гораздо дельнее и надежнее Шубина, и если его повести по какому-нибудь пути, то он пойдет охотно и прямо. Но сам вести он не может не только других, но даже и себя самого: инициативы нет у него в натуре, и он не успел ее приобрести ни в воспитании, ни в последующей жизни. Елена сначала почувствовала симпатию к нему за то, что он добрый и все о деле говорит. Она даже совестит-

ся пред ним своего невежества, по тому случаю, что он все приносит ей книги, которых она читать де может. Но совершенно привязаться к нему, отдать ему свою душу, свою судьбу она не может: она еще прежде, чем увидела Инсарова, инстинктивно поняла, что Берсенева не то, чего ей нужно. И действительно, можно с достоверностью утверждать, что Берсенева струсил бы, если б Елена вздумала навязаться ему на шею, и непременно убежал бы под разными, весьма благовидными предложениями.

Впрочем, на безлюдье, в котором жила Елена, она увлеклась было на минуту Берсенева и уже спрашивала себя: не он ли тот, кого так давно и так жадно ждала душа ее, кто должен был вывести ее из всех недоумений и указать ей путь деятельности? Но сам же Берсенева привел к ней Инсарова, и очарование исчезло...

В Инсарове, строго говоря, нет ничего чрезвычайного. Берсенева и Шубин, и сама Елена, и, наконец, даже автор повести характеризуют его все более отрицательными качествами. Он никогда не лжет, не изменяет своему

слову, не берет займы денег, не любит разговаривать о своих подвигах, не откладывает исполнения принятого решения, его слово не расходится с делом и т. п. Словом, в нем нет тех черт, за которые должен горько упрекать себя всякий человек, имеющий претензию считать себя порядочным. Но, кроме того, он – болгар, питающий в душе страстное желание освободить свою родину, и этой мысли он предается весь, открыто и уверенно, в ней заключается конечная цель его жизни. Он не думает ставить свое личное благо в противоположность с этой целью; подобная мысль, столь естественная в русском ученом дворянине Берсеневе, не может даже в голову прийти простому болгару. Напротив, он потому-то и хлопочет о свободе родины, что в этом видит свое личное спокойствие, счастье всей своей жизни; он бы оставил в покое порабощенную родину, если б только мог найти удовлетворение себе в чем-нибудь другом. Но он никак не может понять себя отдельно от родины. «Как же это можно быть довольным и счастливым, когда свои земляки страдают? – думает он. – Как же может человек успо-

коиться, пока его родина поработана и угнетена? И какое занятие может быть для него приятно, если оно не ведет к облегчению участи бедных земляков?» Таким образом, он делает свое задушевное дело совершенно спокойно, без натяжек и фанфаронад, так же просто, как ест и пьет. Покамест ему приходится еще мало работать для прямого выполнения своей идеи; но что же делать? Ему приходится теперь и есть плохо и мало, и даже иной раз голодать случается; но все-таки пища, хоть и скудная, составляет необходимое условие его существования. Так и освобождение родины: он учится в Московском университете, чтобы образоваться вполне и сблизиться с русскими, и в течение повести довольствуется покамест тем, что переводит болгарские песни на русский язык, составляет болгарскую грамматику для русских и русскую для болгар, переписывается с своими земляками и собирается ехать на родину – готовить восстание, при первой вспышке восточной войны (действие повести в 1853 году). Конечно, это скудная пища для деятельного патриотизма Инсарова; но он свое пребывание в

Москве и не считает еще настоящею жизнью, свою слабую деятельность не считает удовлетворительною даже для своего личного чувства. Он также живет *накануне* великого дня свободы, в который существо его озарится сознанием счастья, жизнь наполнится и будет уже настоящей жизнью. Этого дня ждет он, как праздника, и вот почему не приходит ему в голову сомневаться в себе и холодно рассчитывать и взвешивать, сколько именно может он сделать и с каким великим мужем успеет поравняться. Будет ли он Тимофеем Николаичем или Иваном Ивановичем, – до этого ему решительно нет дела; придется ли быть номером первым или вторым, – он об этом и не думает. Он будет делать то, к чему влечет его натура; если натура у него такая, что других лучше не найдется, он станет первым номером, пойдет во главе; если найдутся люди крепче и смелее его, он пойдет за ними, и в обоих случаях останется неизменным и верным себе. Где стать и до чего дойти – это определяют обстоятельства: но он хочет идти, он не может нейти, не потому, чтобы боялся нарушить какой-нибудь долг, а потому, что он

умер бы, если бы ему нельзя было двинуться с места. В этом огромная разница между ним и Берсеневым. Берсенев тоже способен к жертвам и подвигам; но он похож при этом на великодушную девушку, которая для спасения отца решается на ненавистный брак. С затаенной болью и тяжелой покорностью судьбе ждет она дня свадьбы и рада была бы, если б что-нибудь ей помешало. Инсаров, напротив, для своих подвигов, наступления своей самоотверженной деятельности ждет страстно и нетерпеливо, как влюбленный юноша ждет дня свадьбы с любимой девушкой. Одна только боязнь и тревожит его: как бы что-нибудь не расстроило, не отсрочило желанной минуты. Любовь к свободе родины у Инсарова не в рассудке, не в сердце, не в воображении: она у него во всем организме, и что бы ни вошло в него, все претворяется силою этого чувства, подчиняется ему, сливается с ним. Оттого, при всей обыкновенности своих способностей, при во всем отсутствии блеска в своей натуре, он стоит неизмеримо выше, действует на Елену несравненно сильнее и обаятельнее, нежели блестящий Шубин

и умный Берсенева, хотя оба они – тоже люди благородные *та* любящие. Елена делает о Берсеневе очень меткое замечание в своем дневнике (на который вообще автор не пожалел своего глубокомыслия и остроумия): «Андрей Петрович, может быть, учнее его (Инсарова), может быть, даже умнее... Но, я не знаю, – *он перед ним такой маленький*».

Рассказывать ли историю сближения Елены с Инсаровым и любви их? Кажется, не нужно. Вероятно, наши читатели хорошо помнят эту историю; да ведь этого и не расскажешь. Нам страшно прикоснуться своей холодной и жесткой рукою к этому нежному поэтическому созданию; сухим и бесчувственным пересказом мы боимся даже профанировать чувство читателя, непременно возбуждаемое поэзией тургеневского рассказа. Певец чистой, идеальной женской любви, г. Тургенев так глубоко заглядывает в юную, девственную душу, так полно охватывает ее и с таким вдохновенным трепетом, с таким жаром любви рисует ее лучшие мгновения, что нам в его рассказе так и чутся – и колебание девственной груди, и тихий вздох, и увлажнен-



ный взгляд, слышится каждое биение взволнованного сердца, и наше собственное сердце млеет и замирает от томного чувства, и благодатные слезы не раз подступают к глазам, и из груди рвется что-то такое, – как будто мы свиделись с старым другом после долгой разлуки или возвращаемся с чужбины к родным местам. И грустно и весело это ощущение: там светлые воспоминания детства, невозвратно мелькнувшего, там гордые и радостные надежды юности, там идеальные, дружные мечты чистого и могучего воображения, еще не смиренного, не униженного испытаниями житейского опыта. Все это прошло и не будет больше; но еще не пропал человек, который хоть в воспоминании может вернуться к этим светлым грезам, к этому чистому, младенческому упоению жизнью, к этим идеальным, величавым замыслам – и содрогнуться потом, при взгляде на ту грязь, пошлость и мелочность, в которой проходит его теперешняя жизнь. И благо тому, кто умеет пробуждать в других такие воспоминания, вызвать такое настроение души... Талант г. Тургенева всегда был силен этою стороною,

его повести постоянно производили своим общим строем такое чистое впечатление, и в этом, конечно, заключается их существенное значение для общества. Не чуждо этого значения и «Накануне» в изображении любви Елены. Мы уверены, что читатели и без нас сумеют оценить всю прелесть тех страстных, нежных и томительных сцен, тех тонких и глубоких психологических подробностей, которыми рисуется любовь Елены и Инсарова с начала до конца. Вместо всякого рассказа мы напомним только дневник Елены, ее ожидание, когда Инсаров должен был прийти проститься, сцену в часовенке, возвращение Елены домой после этой сцены, ее три посещения к Инсарову, особенно последнее[5], потом прощанье с матерью, с родиной, отъезд, наконец последнюю прогулку ее с Инсаровым по Canal Grande, слушанье «Травиаты» и возвращение. Это последнее изображение особенно сильно подействовало на нас своей строгой истиной и бесконечно-грустной прелестью; для нас это самое задушевное, самое симпатичное место всей повести.

Предоставляя самим читателям насла-

даться припоминанием всего развития повести, мы обратимся опять к характеру Инсарова или, лучше, к тому отношению, в каком стоит он к окружающему его русскому обществу. Мы уже видели, что он здесь почти не действует для достижения своей главной цели; только раз видим мы, что он уходит за 60 верст для примирения поссорившихся земляков, живших в Троицком посаде, да в конце его пребывания в Москве упомянуто, что он разъезжал по городу и видался украдкой с разными лицами. Да разумеется, – ему и нечего было делать, живя в Москве; для настоящей деятельности нужно было ему ехать в Болгарию. И он поехал туда, но на дороге смерть застигла его, и деятельности его мы так и не видим в повести. Из этого ясно, что сущность повести вовсе не состоит в представлении нам образца гражданской, то есть общественной доблести, как некоторые хотят уверить. Тут нет упрека русскому молодому поколению, нет указания на то, каков должен быть гражданский герой. Если б это входило в план автора, то он должен был бы поставить своего героя лицом к лицу с самым де-

лом – с партиями, с народом, с чужим правительством» с своими единомышленниками, с вражеской силой... Но автор наш вовсе не хотел, да, сколько мы можем судить по всем его прежним произведениям, и не в состоянии был бы написать героическую эпопею. Его дело совсем другое: из всей «Илиады» и «Одиссеи» он присвоивает себе только рассказ о пребывании Улисса на острове Калипсы и далее этого не простирается. Давши нам понять и почувствовать, что такое Инсаров и в какую среду попал он, – г. Тургенев весь отдается изображению того, как Инсаров любит и как его любят. Там, где любовь должна наконец уступить место живой гражданской деятельности, он прекращает жизнь своего героя и оканчивает повесть.

В чем же, стало быть, смысл появления *болгара* в этой истории? Что тут значит болгар, почему не русский? Разве между русскими уже и нет таких натур, разве русские не способны любить страстно и решительно, не способны очертя голову жениться по любви? Или это просто прихоть авторского воображения, и в ней не нужно отыскивать никакого

особенного смысла? «Взял, мол, себе болгара, да и кончено; а мог бы взять и цыгана и китаец, пожалуй»...

Ответ на эти вопросы зависит от воззрения на весь смысл повести. Нам кажется, что болгар действительно здесь мог быть заменен, пожалуй, и другою национальностью – сербом, чехом, итальянцем, венгром, – только не поляком и не русским{4}. Почему не поляком, об этом, разумеется, и вопроса быть не может; а почему не русским, – в этом и заключается весь вопрос, и мы постараемся ответить на него, как умеем.

Дело в том, что в «Накануне» главное лицо – Елена. В ней сказалась та смутная тоска по чем-то, та почти бессознательная, но неотразимая потребность новой жизни, новых людей, которая охватывает теперь все русское общество, и даже не одно только так называемое образованное. В Елене так ярко отразились лучшие стремления нашей современной жизни, а в ее окружающих так рельефно выступает вся несостоятельность обычного порядка той же жизни, что невольно берет охота провести аллегорический па-

раллель. Тут все пришлось бы на месте: и не злой, но пустой и тупо важничающий Стахов, в соединении с Анной Васильевной, которую Шубин называет курицей, и немка-компаньонка, с которой Елена так холодна, и сонливый, но по временам глубокомысленный Увар Иванович, которого волнует только известие о контробомбардоне, и даже неблагоприятный лакей, доносящий на Елену отцу, когда уже все дело кончено... Но подобные параллели, несомненно доказывающие игривость воображения, становятся натянуты и смешны, когда уходят в большие подробности. Поэтому мы удержимся от подробностей и сделаем лишь несколько самых общих замечаний.

Развитие Елены основано не на большой учености, не на обширном опыте жизни; лучшая, идеальная сторона ее существа раскрылась, выросла и созрела в ней при виде кроткой печали родного ей лица, при виде бедных, больных и угнетенных, которых она находила, и видела всюду, даже во сне. Не на подобных ли впечатлениях выросло и воспиталось все лучшее в русском обществе? Не ха-

рактируется ли у нас каждый истинно порядочный человек ненавистью ко всякому насилию, произволу, притеснению и желанием помочь слабым и угнетенным? Мы не говорим: «борьбою в защиту слабых от обиды сильных», потому что этого нет, но именно *желанием*, совершенно так, как у Елены. Мы тоже рады сделать и доброе дело, когда оно заключает в себе только положительную сторону, то есть не требует никакой борьбы, не предполагает никакого стороннего противодействия. Мы подадим милостыню, сделаем благотворительный спектакль, пожертвуем даже частью своего достояния в случае нужды; но только чтобы этим дело и ограничилось, чтобы нам не пришлось хлопотать и бороться с разными неприятностями из-за какого-нибудь бедного или обиженного. «Желание деятельного добра» есть в нас и силы есть; но боязнь, неуверенность в своих силах и, наконец, незнание: что делать? – постоянно нас останавливают, и мы, сами не зная как, – вдруг оказываемся в стороне от общественной жизни, холодными и чуждыми ее интересам, точь-в-точь как Елена в окружающей

ее среде. Между тем *желание* по-прежнему кипит в груди (говорим о тех, кто не старается искусственно заглушить это желание), и мы все ищем, жаждем, ждем... ждем, чтобы нам хоть кто-нибудь объяснил, что делать. С болью недоумения, почти с отчаянием пишет Елена в своем дневнике: «О, если бы кто-нибудь мне сказал: вот что ты должна делать! Быть доброю – этого мало; делать добро... да, это главное в жизни. *На как делать добро?*» Кто из людей нашего общества, сознающих в себе живое сердце, мучительно не задавал себе этого вопроса? Кто не признавал жалкими и ничтожными все те формы деятельности, в которых проявлялось, по мере сил, его желание добра? Кто не чувствовал, что есть что-то другое, высшее, что мы даже и могли бы сделать, да не знаем, как приняться надобно... И где же разрешение сомнений? Мы томительно, жадно ищем его в светлые минуты своего существования и нигде не находим. Все окружающее, кажется нам, или томится тем же недоумением, как и мы, или загубило в себе человеческий образ и сузило себя до преследования только своих мелких, эгоистических,



животных интересов. И так, день изо дня, проходит жизнь, пока она не умерла в сердце человека, и день изо дня ждет живой человек: не будет ли завтра лучше, не разрешится ли завтра сомненье, не явится ли завтра тот, кто скажет нам, как делать добро...

Эта тоска ожидания давно уже томит русское общество, и сколько раз уже ошибались мы, подобно Елене, думая, что жданный явился, и потом охладевали. Елена страстно привязалась было к Анне Васильевне; но Анна Васильевна оказалась ничтожною, бесхарактерною... Почувствовала было расположение к Шубину, как наше общество одно время увлекалось художественностью; но в Шубине не оказалось дельного содержания, одни блески и капризы, а Елене не до того было, чтобы, посреди ее исканий, любоваться игрушками. Увлеклась на минуту серьезною наукою в лице Берсенева; но серьезная наука оказалась скромною, сомневающеюся, выжидающею первого номера, чтобы пойти за ним. А Елене именно нужно было, чтобы явился человек, не нумерованный и не выжидающий себе назначения, а самостоятельно и

неодолимо стремящийся к своей цели и увлекающий к ней других. Таким-то наконец явился пред нею Инсаров, и в нем-то нашла она осуществление своего идеала, в нем-то увидела возможность ответа на вопрос: как ей делать добро.

Но почему же Инсаров не мог быть русским? Ведь он в повести не действует, а только собирается на дело; это и русский может. Характер его тоже возможен и в русской коже, особенно в таких проявлениях. Он любит сильно и решительно; но неужели невозможно и это для русского человека?

Все это так, и все-таки сочувствие Елены, такой девушки, как мы ее понимаем, не могло обратиться на русского человека с тем правом, с тою естественностью, как обратилось оно на этого болгара. Все обаяние Инсарова заключается в величии и святости той идеи, которой проникнуто все его существо. Елена, жаждущая деятельного добра, но не знающая, как его делать, мгновенно и глубоко поражается, еще не видавши Инсарова, рассказом о его замыслах. «Освободить свою родину, – говорит она, – эти слова и выговорить страш-

но – так они велики!» И она чувствует, что слово ее сердца найдено, что она удовлетворена, что выше этой цели нельзя поставить себе и что на всю ее жизнь, на всю ее будущность достанет деятельного содержания, если только она пойдет за этим человеком. И она старается всмотреться в него, ей хочется проникнуть в его душу, разделить его мечты, войти в подробности его планов. А в нем только и есть постоянная, слитая с ним, идея родины и ее свободы; и Елена довольна, ей нравится в нем эта ясность и определенность стремлений, спокойствие и твердость души, могучесть самого замысла, и она скоро сама делается эхом той идеи, которая его одушевляет. «Когда он говорит о своей родине, – пишет она в своем дневнике, – он растет, растет, и лицо его хорошеет, и голос, как сталь, и нет, кажется, тогда на свете такого человека, пред кем бы он глаза опустил. И он не только говорит, он делал и будет делать. Я его расспрошу»... Через несколько дней она опять пишет: «А ведь странно, однако, что я до сих пор, до двадцати лет, никого не любила! Мне кажется, что у Д. (буду называть его Д., мне нравит-

ся это имя: Дмитрий) оттого так ясно на душе, что он весь отдался своему делу, своей мечте. Из чего ему волноваться? Кто отдался весь... весь... весь... тому горя мало, тот уж ни за что не отвечает. Не я хочу, *то* хочет». И, понявши это, она сама хочет слиться с ним так, чтобы уже *не она* хотела, а *он* и *то*, что его одушевляет. И мы очень хорошо понимаем ее положение; уверены, что и все русское общество, хотя еще и не увлечется, подобно ей, лично-стью Инсарова, но поймет возможность и естественность чувства Елены.

Мы говорим: общество не увлечется само, и основываем это предположение на том, что *этот* Инсаров все еще нам чужой человек. Сам г. Тургенев, так хорошо изучивший лучшую часть нашего общества, не нашел возможности сделать его *нашим*. Мало того, что он вывез его из Болгарии, он недостаточно приблизил к нам этого героя даже просто как человека. В этом, если хотите смотреть даже на литературную сторону, главный художественный недостаток повести. Мы понимаем одну из важных причин его, не зависящих от автора, и потому не делаем упрека г. Тургене-

ву. Но, тем не менее бледность очертаний Инсарова отражается на самом впечатлении, производимом повестью. Величие и красота идей Инсарова не выставляются пред нами с такою силою, чтобы мы сами прониклись ими и в гордом одушевлении воскликнули: идем за тобою! А между тем идея эта так свята, так возвышенна... Гораздо менее человеческие, даже просто фальшивые идеи, горячо проведенные в художественных образах, производили лихорадочное действие на общество; Карлы Мооры, Вертеры, Печорины вызвали толпу подражателей. Инсаров их не вызовет. Правда, что и мудрено было ему выказаться вполне с своей идеей, живя в Москве и ничего не делая: ведь не в риторических же разглагольствиях упражняться! Но мы из повести мало узнаем его и как человека: его внутренний мир не доступен нам; для нас закрыто, что он делает, что думает, чего надеется, какие испытывает перемены в своих, отношениях, как смотрит на ход событий, на жизнь, несущуюся перед его глазами. Даже любовь его к Елене остается для нас не вполне раскрытою. Мы знаем, что он полюбил ее

страстно; но как это чувство вошло в него, что в ней привлекло его, на какой степени было это чувство, когда он его заметил и решился было удалиться, – все эти внутренние подробности и многие другие, которые так тонко, так поэтически умеет рисовать г. Тургенев, остаются темными в личности Инсарова. Как живой образ, как лицо действительное, Инсаров от нас чрезвычайно далек. Елена могла полюбить его со всей силой души своей, потому что она видела его в жизни, а не в повести, для нас же он близок и дорог только как представитель идеи, которая поражает и нас, как Елену, мгновенным светом и озаряет мрак нашего существования. Поэтому-то мы и понимаем всю естественность чувства Елены к Инсарову, поэтому-то и сами, довольные его непреклонною верностью идее, не замечаем, на первый раз, что он обозначается перед нами лишь в бледных и общих очертаниях.

И еще хотят, чтоб он был русским! «Нет, он не мог бы быть русским», – восклицает сама Елена в ответ на явившееся было сожаление, что он не русский. И действительно, таких

русских не бывает, не должно и не может быть, в настоящее время по крайней мере. Не знаем, как развиваются и разовьются новые поколения, но те, которые мы видим теперь действующими, развивались вовсе не так, чтобы могли уподобиться Инсарову. На развитие каждого отдельного человека имеют влияние не только его частные отношения, но и вся общественная атмосфера, в которой суждено ему жить. Иная развивает героические тенденции, другая – мирные наклонности; иная раздражает, другая убаюкивает. Русская жизнь сложилась так хорошо, что в ней все вызывает на спокойный и мирный сон, и всякий бессонный человек кажется, не без основания, беспокойным и совершенно лишним для общества. Сравните, в самом деле, обстоятельства, при которых начинается и проходит жизнь Инсарова, с обстоятельствами, встречающими жизнь каждого русского человека.

Болгария порабощена, она страдает под турецким игом. Мы, слава богу, никем не порабощены, мы свободны, мы – великий народ, не раз решавший своим оружием судьбы

царств и народов; мы владеем другими, а нами никто не владеет...

В Болгарии нет общественных прав и гарантий. Инсаров говорит Елене: «Если б вы знали, какой наш край благодатный. А между тем его топчут, его терзают, у нас все отняли, все: наши церкви, наши права, наши земли; как стадо гоняют нас поганые турки, нас режут...» Россия, напротив того, государство благоустроенное, в ней существуют мудрые законы, охраняющие права граждан и определяющие их обязанности, в ней царствует правосудие, процветает благодетельная гласность. Церквей ни у кого не отнимают, и веры не стесняют решительно ничем, а напротив, поощряют ревность проповедников в обличении заблудших; прав и земель не только не отнимают, но еще даруют их тем, кто не имел доселе; в виде стада никого не гоняют.

«В Болгарии, – говорит Инсаров, – последний мужик, последний нищий и я – мы желаем одного и того же: у всех одна цель». Такой монотонности вовсе нет в русской жизни, в которой каждое сословие, даже каждый кружок живут своею отдельною жизнью, имеют



свои особые цели и стремления, свое установленное назначение. При существующем у нас благоустройстве общественном каждому остается только упрочивать собственное благосостояние, для чего вовсе не нужно соединяться с целой нацией в одной общей идее, как это происходит в Болгарии.

Инсаров был еще младенцем, когда турецкий ага похитил его мать и потом зарезал, а отец его был расстрелян за то, что, желая отомстить аге, поразил его кинжалом. Когда и кого из русских людей могли встретить в жизни подобные впечатления? Слыхано ли что-нибудь подобное в русской земле? Конечно, уголовные преступления везде возможны, но у нас, если бы какой-нибудь ага и похитил и убил или уморил потом чужую жену, так мужа и до отщепенца бы не допустили, ибо у нас есть законы, для всех равные и нелицеприятно наказывающие преступление.

Словом, Инсаров с молоком матери всасывает ненависть к поработителям, недовольство настоящим порядком вещей. Ему не нужно напрягать себя, не нужно доходить долгим рядом силлогизмов до того, чтобы

определить направление своей деятельности. Как скоро он не ленив и не трус, он уже знает, что ему делать и как вести себя; разбрасываться ему некуда. Да и задача-то у него *удобопонятная*, как говорит Шубин: «Стоит только турок вытурить – велика штука!» И Инсаров знает притом, что он прав в своей деятельности, не только перед собственной совестью, но и перед людским судом: его замыслы найдут сочувствие во всяком порядочном человеке. Представьте же теперь что-нибудь подобное в русском обществе: неудобопредставимо... В русском переводе Инсаров выйдет не что иное, как разбойник, представитель «противообщественного элемента», о котором русская публика знает очень хорошо из красноречивых исследований г. Соловьева, сообщенных «Русским вестником»{5}. Кто же, спрашивается, может полюбить такого? Какая благовоспитанная и умная девушка не побежит от него, что есть мочи, с криком: *quelle horreur!*

Понятно ли теперь, почему не может быть русский на месте Инсарова? Натуры, подобные ему, рождаются, конечно, и в России в нема-

лом количестве, но они не могут так беспрепятственно развиваться и так беззастенчиво проявлять себя, как Инсаров. Русский, современный Инсаров всегда останется робким, двойственным, будет таиться, выражаться с разными прикрытиями и экивоками... а это и уменьшает доверие к нему. Выйдет, пожалуй, даже иной раз, что он лжет и противоречит себе; а известно, что люди лгут обыкновенно либо из выгод, либо из трусости. Какое же сочувствие можно питать к корыстолюбцу и трусу, особенно, когда душа томится жаждою дела и ищет мощной головы и руки, которая бы повела ее?

Бывают, правда, и у нас небольшие герои, несколько похожие на Инсарова отвагою и сочувствием к угнетенным. Но они в нашей среде являются смешными Дон-Кихотами. Отличительная черта Дон-Кихота – непонимание ни того, за что он борется, ни того, что выйдет из его усилий, – удивительно ярко выступает в них. Они, например, вдруг вообразят, что надо спасти крестьян от произвола помещиков: и знать того не хотят, что никакого произвола тут нет, что права помещиков

строго определены законом и должны быть неприкосновенны, пока законы эти существуют, и что восстановить крестьян собственно против этого произвола, значит, не избавивши их от помещика, подвергнуть еще наказанию по закону. Или, например, зададут себе работу: спасать невинных от судебной неправды, – как будто бы у нас судьи по своему произволу так и делают, что хотят. Дела у нас все, как известно, вершатся по закону, а чтобы растолковать закон так или иначе, – на это не геройство нужно, а привычка к судебским изворотам. Вот Дон-Кихоты наши и возьтятся попусту... А то выдумают вдруг – взятки искоренять, – и уж какая тут мука пойдет бедным чиновникам, берущим гривенник за какую-нибудь справку! Со свету стонят их наши герои, принимающие на себя защиту страждущих. Оно, конечно, благородно и высоко; да можно ли сочувствовать этим неразумным людям? И ведь мы еще говорим не о тех холодных служителях долга, которые поступают таким образом просто по обязанности службы, мы имеем в виду русских людей, действительно искренно сочувствующих угне-

тенным и готовых даже на борьбу для их защиты. И эти-то выходят бесполезны и смешны, потому что не понимают общего значения той среды, в которой действуют. Да и как им понять, когда они сами-то в ней находятся, когда верхушки их тянутся вверх, а корень все-таки прикреплен к той же почве? Они хотят прогнать горе ближних, а оно зависит от устройства той среды, в которой живут и горюющие и предполагаемые утешители. Как же тут быть? Всю эту среду перевернуть, – так надо будет повернуть и себя; а подите-ко сядьте в пустой ящик, да и попробуйте его перевернуть вместе с собой. Каких усилий это потребует от вас! – между тем как, подойдя со стороны, вы одним толчком могли бы справиться с этим ящиком. Инсаров именно тем и берет, что не сидит в ящике; притеснители его отечества – турки, с которыми он не имеет ничего общего; ему стоит только подойти, да и толкнуть их, насколько силы хватит. Русский же герой, являющийся обыкновенно из образованного общества, сам кровно связан с тем, на что должен восставать. Он находится в таком положении, в каком был бы, напри-

мер, один из сыновей турецкого аги, вздумавший, освободить Болгарию от турок. Трудно даже предположить такое явление; но если бы оно случилось, то, чтобы сын этот не представлялся нам глупым и забавным малым, нужно, чтобы он отрекся уж от всего, что его связывало с турками: – и от веры, и от национальности, и от круга родных и друзей, и от житейских выгод своего положения. Нельзя не согласиться, что это ужасно трудно и что подобная решительность требует несколько другого развития, нежели какое обыкновенно получает сын турецкого аги. Не много легче дается геройство и русскому человеку. Вот отчего у нас симпатичные, энергические натуры и удовлетворяют себя мелкими и ненужными бравадами, не достигая до настоящего, серьезного героизма, то есть до отречения от целой массы понятий и практических отношений, которыми они связаны с общественной средою. Робость их пред громадою противных сил отражается даже на теоретическом их развитии: они боятся или не умеют доходить до корня и, задумывая, например, карать зло, только и бросаются на какое-ни-

будь мелкое проявление его и утомляются страшно, прежде чем успеют даже подумать об его источнике. Не хочется им поднять руки на то дерево, на котором и они сами выросли; вот они и стараются уверить себя и других, что вся гниль его только снаружи, что только счистить ее стоит, и все будет благополучно. Выгнать из службы несколько взяточников, наложить опеку на несколько помещичьих имений, обличить целовальника, в одном кабаке продавшего дурного качества водку – вот и воцарится правосудие, крестьяне во всей России будут благоденствовать, и откупа сделаются превосходною вещью для народа. Так искренно думают многие, и действительно тратят все свои силы на подобные подвиги, и за то не шутя считают себя героями.

Нам рассказывали об одном подобном герое, человеке, как говорили, чрезвычайно энергическом и талантливом. Еще будучи в гимназии, он затеял дело с одним гувернером, по тому поводу, что он утаивает бумагу, назначаемую для выдачи воспитанникам. Дело пошло как-то неловко; герой наш умел задеть и инспектора и директора и был исклю-

чен из гимназии. Стал он готовиться в университет, а между тем принялся давать уроки. При одном из первых же уроков он заметил, что мать детей, которых он учил, ударила по щеке свою горничную. Он вспыхнул, поднял в доме гвалт, привел полицию и формально обвинил хозяйку дома в жестоком обращении с прислугой. Потянулось следствие, в котором он ничего, разумеется, не мог доказать, и его чуть не присудили к строгому наказанию за ложное показание и клевету. Уроков после этого он уж не мог достать. Определился, с большим трудом, по чьей-то особенной милости на службу: дали ему переписать какое-то решение очень нелепого свойства; он не вытерпел и заспорил; ему сказали, чтоб молчал, – он не послушался; ему велели убраться вон. От нечего делать принял он приглашение одного из своих бывших товарищей – ехать с ним на лето в деревню; приехал, увидал, что там делается, да и принялся толковать – и своему товарищу, и отцу его, и даже бурмистру и мужикам – о том, как незаконно больше трех дней на барщину крестьян гонять, как непозволительно сечь их



без всякого суда и расправы, как бесчестно таскать по ночам крестьянских женщин в барский дом и т. п. Кончилось тем, что мужиков, которые его с участием послушали, перепороли, а ему старый барин велел запрещь лошадей и попросил его не являться больше в их краях, если хочет цел остаться. Кое-как переколотившись лето, герой наш к осени поступил в университет благодаря тому, что на экзамене попадались ему все вопросы не задорные, на которых нельзя было разгуляться и заспорить. Поступил он на медицинский факультет и занимался действительно хорошо; но в практическом курсе, когда профессор у кровати больного объяснял свою премудрость, он никогда не мог удержаться, чтоб не *оборвать* отсталого или шарлатанящего профессора; как только тот соврет что-нибудь, так он и пойдет ему доказывать, что это чепуха. Вследствие таких выходов герой наш не оставлен при университете, не послан за границу, а назначен в какой-то отдаленный госпиталь. Здесь он на первых же порах уличил зрителя и грозил на него жаловаться; потом, в другой раз, поймал и пожаловался,

за что получил выговор от главного доктора; получая выговор, он, конечно, очень крупно поговорил и вскоре был переведен из госпиталя... Досталось ему вслед за тем провожать какую-то партию; он принялся шуметь за солдат с начальником партии и с чиновником, заведовавшим продовольствием. Видя, что слова не помогают, написал рапорт, что солдаты недоедают и недопивают по милости чиновника и что начальник партии этому по-такает. По прибытии на место – следствие; допрашивают солдат, те говорят: довольны; герой наш приходит в негодование, говорит дерзости генерал-штаб-доктору и месяц спустя разжалывается в фельдшерские помощники. Пробывши две недели в этой должности и не выдержав нарочито-зверского обращения с ним, он застреливается{6}.

Не правда ли, – явление необыкновенное, сильная, порывистая натура? Между тем посмотрите, на чем гибнет он. Во всех его поступках нет ничего такого, что бы не составляло прямой обязанности всякого честного человека на его месте; а ему нужно, однако, много героизма, чтоб поступать таким обра-

зом, нужна самоотверженная решимость гибнуть за добро. Спрашивается теперь: если уж в нем есть эта решимость, то не лучше ли воспользоваться ею для дела большого, которым бы действительно достигалось что-нибудь существенно полезное? Но в том-то и беда, что он не сознает надобности и возможности такого дела и не понимает того, что его окружает. Он не хочет видеть круговой поруки во всем, что делается перед его глазами, и воображает, что всякое замеченное им зло есть не более как злоупотребление прекрасного установления, возможное лишь как редкое исключение. При таких понятиях русские герои только и могут, разумеется, ограничиваться мизерными частностями, не думая об общем, тогда как Инсаров, напротив, частное всегда подчиняет общему, в уверенности, что «и то не уйдет». Так, в ответ на вопрос Елены, отмстил ли он убийце своего отца, Инсаров говорит: «Я не искал его. Я не искал его не потому, чтобы я не мог убить его, – я бы очень спокойно убил его, – но потому, что тут не до частной мести, когда дело идет об освобождении народа. Одно помешало бы другому. В

свое время и то не уйдет». Вот в этой любви к общему делу, в этом предчувствии его, которое дает силу спокойно выдерживать отдельные обиды, и заключается великое превосходство болгара Инсарова пред всеми русскими героями, у которых общего дела-то и в помине нет.

Впрочем, и подобных-то героев у нас очень немного, да и из них большая часть не выдерживает себя до конца. Гораздо многочисленнее в нашем образованном обществе другой разряд людей – занимающихся размышлениями. Из них тоже есть много таких, которые хоть и размышляют, но ничего не умеют понять; но об этих мы не говорим. Мы хотим указать только на тех, действительно с светлою головою людей, которые путем долгих сомнений и исканий дошли до того же единства и ясности идеи, с какими является перед нами, без всяких особенных усилий, Инсаров. Эти люди понимают, где корень зла, и знают, что надо делать, чтобы зло прекратить; они глубоко и искренно проникнуты мыслью, до которой добились наконец. Но – в них нет уже силы для практической деятельности;

они столько ломали себя, что натура их как-то надселась и обессилела. Они с сочувствием смотрят на приближение новой жизни, но сами идти ей навстречу не могут, и ими не может удовлетвориться свежее чувство человека, жаждущего деятельного добра и ищущего себе руководителя.

Никто из нас не берет готовыми человеческих понятий, во имя которых нужно потом вести жизненную борьбу. Оттого ни в ком и нет той ясности, той цельности воззрений и действий, которые так естественны, хоть бы, например, в Инсарове. У него впечатления жизни, действующие на сердце и пробуждающие его энергию, постоянно подкрепляются требованиями рассудка, всем теоретическим образованием, которое он получает. У нас совершенно наоборот. Один из наших знакомых, держащийся передовых мнений и сгорающий тоже жаждою деятельного добра, но человек кротчайший и безвреднейший в мире, вот что рассказывал нам о своем развитии, в объяснение своей теперешней бездеятельности.

«По натуре своей, – говорил он, – я был

мальчик очень добрый и впечатлительный. Я, бывало, плакал и метался, слушая рассказ о каком-нибудь несчастье, я страдал при виде чужого страдания. Помню, что я не спал ночи, терял аппетит и не мог ничего делать, когда кто-нибудь в доме был болен; помню, что не раз приходил я в некоторого рода бешенство при виде истязаний, какие чинил один мой родственник над своим сыном, моим приятелем. Все, что я видел, все, что слышал, развивало во мне тяжелое чувство недовольства; в душе моей рано начал шевелиться вопрос: да отчего же все так страдает, и неужели нет средства помочь этому горю, которое, кажется, всех одолело? Я жадно искал ответа на эти вопросы, и скоро мне дали ответ, разумный и систематический. Я начал учиться. Первая пропись, которую я написал, была такова: «Истинное счастье заключается в спокойствии совести». На расспросы мои о совести, мне объяснили, что она карает нас за дурные поступки и награждает за хорошие. Все мое внимание устремилось теперь на то, чтобы узнать какие поступки хороши, какие дурны. Это было не трудно: кодекс нравственности

был готов – и в прописях, и в домашних наставлениях, и в особом курсе. «Почитай старших», «Не надейся на свои силы, ибо ты – ничто», «Будь доволен тем, что имеешь, и не желай большего», «Терпением и покорностью приобретается любовь общая» и пр. в таком роде писал я в прописях. Дома и от всех окружающих слышал я то же самое; а в разных курсах узнал я, что совершенного счастья на земле не может быть, но что насколько оно возможно, настолько достигнуто в благоустроенных государствах, из которых наилучшее есть мое отечество. Я узнал, что Россия теперь не только велика и обильна, но что и порядок в ней господствует самый совершенный; что стоит только исполнять законы и приказания старших да быть умеренным, и тогда полнейшее благополучие ожидает человека, какого бы он ни был звания и состояния. Отрадны мне были все эти открытия, и я жадно ухватился за них, как за лучшее решение всех моих сомнений. Вздумал было я поверять их моим неопытным умом, но многое пришлось мне не под силу, а что оказывалось доступным, то выходило так, верно. И вот я

доверчиво и восторженно предался новооткрытой системе, в ней заключил все свои стремления и лет двенадцати был уже маленьким философом и страшным партизаном законности. Я дошел до того убеждения, что во всяком несчастии виноват сам человек, – или тем, что не поберегся, не остерегся, или тем, что не хотел довольствоваться малым, или тем, что не проникнут достаточным уважением к закону и к воле старших. Собственно, закон я еще не совсем хорошо представлял себе, но он олицетворялся для меня во всяком начальстве и старшинстве. Оттого в этот период моей жизни я постоянно стоял за учителей, начальников и т. д. и был очень любим начальством и старшими классами. Раз меня чуть не выкинули в окно товарищи: один учитель сказал целому классу: «Свиньи вы!»; все пришли в азарт по окончании класса, а я принялся защищать учителя и доказывать, что он имел полное право сказать это. В другой раз исключен был один из наших товарищей за грубость начальству; все жалели о нем, потому что он был лучший между нами, но я утверждал, что он наказание вполне



заслужил, и очень удивлялся, как он, будучи таким умным мальчиком, не мог понять, что покорность старшим есть первый долг наш и первое условие счастья. Так с каждым днем укреплялся я в своих понятиях законности и мало-помалу привыкал смотреть на большинство людей только как на орудие исполнения высших приказаний. Я порывал таким образом живую связь с душою человека, я перестал тревожиться бедствиями своих собратьев, перестал отыскивать возможность облегчить их. «Сами виноваты», – говорил я про себя, и стал даже питать к ним не то злобу, не то презрение, как к людям, не умеющим пользоваться спокойно и смирно теми благами, которые им предлагаются по силе общественного благоустройства. Все, что было доброго в моей натуре, обратилось в другую сторону – к поддержанию прав старших над нами. Я чувствовал, что в этом заключается самоотвержение, отречение от собственной самостоятельности, убежден был, что делаю это в видах общей пользы, и считал себя чуть не героем.

Я знаю, что многие так и остаются на этой

степени, а другие ее видоизменяют слегка и уверяют, что они совсем переменялись. Но мне, к счастью, действительно пришлось переменить свое направление довольно рано. Лет четырнадцати я сам имел уже старшинство кое над чем – и в классе и в доме и, разумеется, оказался при этом очень плох. Я умел делать все, что от меня требовали, но что и как мне требовать – этого я не знал. При всем том я был суров и неподступен. Но скоро мне стало совестно, и я принялся поверять свои прежние понятия о начальстве. Поводом к этому был один случай, пробудивший опять живые ощущения в моем мертвевшем сердце. Как старший брат и умница, я учил между прочим одну из сестер моих. Мне дано было право присуждать ей наказания за леность,слушание и пр. Раз она что-то была рассеяна и никак не хотела понять моих толкований; я велел ей стать на колени. Она тотчас собралась с мыслями и принявши внимательный вид, стала просить, чтоб я повторил еще раз свои слова. Но я потребовал, чтоб она прежде исполнила приказание – стала на колени; она заупрямилась. Тогда я схватил ее за

руки, поднял с места, потом положил ей свои локти на плечи и изо всех сил надавил вниз. Бедная девочка опустилась на колени и взвизгнула: у ней свихнулась нога при этом движении. Я очень испугался; но когда мать стала бранить меня за такое обхождение с сестрой, я очень хладнокровно старался доказать, что она сама виновата, что если б она тотчас послушалась моего приказания, то ничего бы этого и не было. Однако же втайне я мучился, тем более что сестру свою я очень любил. В это время выяснилась мне мысль, что ведь и старшие могут быть неправы и делать нелепости и что уважать нужно собственно закон, как он есть, а не как проявляется в толкованиях того или другого лица. Тут пошла у меня критика действий лиц, и я из консервативной безответственности стремительно перескочил в *opposition legale*[6]. Но долгое время я приписывал все дурное одним только частным злоупотреблениям и нападал на них – не во имя насущных потребностей общества, не из сострадания к несчастным братьям, а просто во имя положительного закона. В то время я, конечно, с жаром стал бы

говорить против жестокого обращения с неграми, но, подобно некоему московскому публицисту, от всей души обвинил бы Брауна, совершенно противозаконно вздумавшего освободить негров{7}. Однако я был еще тогда очень молод (вероятно, моложе почтенного публициста), мысль моя двигалась и бродила; я не мог остановиться на этом, и, после многих соображений, дошел наконец до сознания, что и законы могут быть несовершенны, что они имеют относительное, временное и частное значение и должны подлежать переменам с течением времени и по требованиям обстоятельств. Но опять, во имя чего так рассуждал я? Во имя высшего, отвлеченного закона справедливости, а вовсе не по внушению живого чувства любви к братьям, вовсе не по сознанию тех прямых, настоятельных надобностей, которые указываются идущей перед нами жизнью. И что же? Вот я сделал и последний шаг: от отвлеченного закона справедливости я перешел к более реальному требованию человеческого блага; я все свои сомнения и умствования привел наконец к одной формуле: человек и его счастье. Но

ведь эта формула была в душе моей еще в детстве, прежде чем я начал обучаться разным наукам и писать назидательные прописи. И, – сказать ли? – теперь я ее лучше понимаю и основательнее могу доказать; но тогда я чувствовал ее сильнее, она более была связана с моим существом, и даже, кажется, я готов был тогда больше сделать для нее, чем теперь. Я стараюсь теперь не делать ничего, противоречащего сознанному мною закону, стараюсь не отнимать счастье у людей; но этой пассивною ролью я и ограничиваюсь. Броситься на поиск счастья, приблизить его к людям, разрушить все, что ему мешает, – это я мог бы только тогда, если бы мои детские чувства и мечты беспрепятственно развились и окрепли. А между тем они глохли и умирали во мне лет пятнадцать, и только теперь я снова возвращаюсь к ним и нахожу их бледными, тощими, слабыми. Мне еще нужно восстанавливать их, прежде чем употреблять в дело; да и кто знает, удастся ли восстановить?»...

Нам кажется, что в этом рассказе есть черты далеко не исключительные, а напротив, могущие служить общим указанием на те

препятствия, какие встречает русский человек на пути самостоятельного развития. Не все с одинаковою силою привязываются к морали прописей, но никто не уходит от ее влияния, и на всех она действует парализующим образом. Чтобы избавиться от нее, человек должен много сил потерять и много утратить веры в себя при этой непрерывной возне с безобразной путаницей сомнений; противоречий, уступок, изворотов и т. п.

Таким образом, кто сохранил у нас силу на геройство, так тому незачем быть героем, цели настоящей он не видит, взяться за дело не умеет и потому только донкихотствует. А кто понимает, что нужно и как нужно, так тот уже всего себя на это понимание и положил, и в практической деятельности шагу ступить не умеет, и сторонится от всякого вмешательства, как Елена, и в домашней среде. Да еще Елена все-таки смелее и свободнее, потому что на нее подействовала только общая атмосфера русской жизни, но, как мы сказали уже, не наложила своей печати рутинного школьного образования и дисциплины.

Выходит, что наши лучшие люди, каких

мы видали до сих пор в современном обществе, только что способны понять жажду деятельного добра, сжигающую Елену, и могут оказать ей сочувствие, но никак не сумеют удовлетворить этой жажды. И это еще передовые, это еще называются у нас «деятели общественные». А то большая часть умных и впечатлительных людей бежит от гражданских доблестей и посвящает себя различным музам. Хоть бы те же Шубин и Берсенев в «Накануне»: славные натуры, и тот, и другой умеют ценить Инсарова, даже стремятся душою вслед за ним, если б им немножко другое развитие да другую среду, они бы тоже не стали спать. Но что же им делать тут, в этом обществе? Перестроить его на свой лад? Да ладу-то у них нет никакого и сил-то нет. Починивать в нем кое-что, отрезывать и отбрасывать понемножку разные дрязги общественного устройства? Да не противно ли у мертвого зубы вырывать, и к чему это поведет? На это способны только герои вроде господ Паншиных и Курнатовских.

Кстати, здесь можем мы сказать несколько слов о Курнатовском, тоже одном из лучших

представителей русского образованного общества. Это новый вид Паншина, только без светских и художественных талантов и более деловой. Он очень честен и даже великодушен; в доказательство его великодушия Стахов, прочащий его в женихи Елене, приводит факт, что он, как только достиг возможности безбедно существовать своим жалованьем, тотчас отказался в пользу братьев от ежегодной суммы, которую назначал ему отец. Вообще в нем много хорошего: это признает даже Елена, изображающая его в письме к Инсарову. Вот ее суждения, по которым одним только мы и можем составить понятие о Курнатовском: он в ходе повести не участвует. Рассказ Елены, впрочем, так полон и меток, что больше нам ничего и не нужно, и потому, вместо перифразы, мы прямо приведем ее письмо к Инсарову:

*«Поздравь меня, милый Дмитрий, – у меня жених. Он вчера у нас обедал; папенька познакомился с ним, кажется, в английском клубе и пригласил его. Разумеется, он приезжал вчера не женихом. Но добрая мамаша, которой*



папенька сообщил свои надежды, шепнула мне на ухо, что это за гость. Зовут его Егор Андреевич Курнатовский; он служит обер-секретарем при сенате. Опишу тебе сперва его наружность. Он небольшого роста, меньше тебя, хорошо сложен; черты у него правильны, он коротко острижен, носит большие бакенбарды. Глаза у него небольшие (как у тебя), карие, быстрые, губы плоские, широкие; на глазах и на губах постоянная улыбка, официальная какая-то; точно она у него дежурит. Держится он очень просто, говорит отчетливо, и все у него отчетливо: он ходит, смеется, ест, словно дело делает. «Как она его изучила!» — думаешь ты, может быть, в эту минуту. Да — для того, чтоб описать тебе его. Да и как же не изучать своего жениха! В нем есть что-то железное... и тупое, и пустое, в то же время — и честное; говорят, он, точно, очень честен. Ты у меня тоже железный, да не так, как этот. За столом он сидел возле меня, против нас сидел Шубин. Сперва речь зашла о каких-то коммерческих предприятиях; говорят,

он в них толк знает и чуть было не бросил своей службы, чтобы взять в руки большую фабрику. Вот не догадался! Потом Шубин заговорил о театре: г. Курнатовский объявил, и я должна сознаться, без ложной скромности, что он в художестве ничего не смыслит. Это мне тебя напомнило... но я подумала: нет, мы с Дмитрием все-таки иначе не понимаем художества. Этот как будто хотел сказать: я не понимаю его, да оно и не нужно, но в благоустроенном государстве допускается. К Петербургу и к сотте il faut[7] он, впрочем, довольно равнодушен; он раз даже назвал себя пролетарием. Мы, говорит, чернорабочие. Я подумала: если бы Дмитрий это сказал, мне бы это не понравилось. А этот пускай себе говорит! Пусть хвастается! Со мной он был очень вежлив; но мне все казалось, что со мной беседует очень, очень снисходительный начальник. Когда он хочет похвалить кого, он говорит, что у такого-то есть правила – это его любимое слово. Он должен быть самоуверен, трудолюбив, способен к самопожертвованию

(ты видишь, я беспристрастна), то есть к пожертвованию своих выгод, но он большой деспот. Беда, попасться ему в руки! За столом заговорили о взятках...

– Я понимаю, – сказал он, – что во многих случаях берущий взятку не виноват: он иначе поступить не мог. А все-таки, если он попался, должно его раздавить.

Я вскрикнула:

– Раздавить невиноватого!

– Да, ради принципа.

– Какого? – спросил Шубин.

Курнатовский не то смешался, не то удивился, и сказал: этого нечего объяснять. Папаша, который, кажется, благоговеет перед ним, подхватил, что, конечно, нечего, и, к досаде моей, разговор этот прекратился. Вечером пришел Берсенеv и вступил с ним в ужасный спор. Никогда я еще не видала нашего доброго Андрея Петровича в таком волнении. Господин Курнатовский вовсе не отрицал пользы науки, университетов и т. д. А между тем я понимала негодование Андрея Петровича. Тот смотрит на все это как на гимна-

*стику какую-то. Шубин подошел ко мне после стола и сказал: вот этот и некто другой (он твоего имени произнести не может) – оба практические люди, а посмотрите, какая разница: там настоящий, живой, жизнью данный идеал, а здесь даже не чувство долга, а просто служебная честность и дельность без содержания. – Шубин умен, и я для тебя запомнила его умные слова; а по-моему, что же общего между вами? Ты веришь, а тот нет, потому что только в самого себя верить нельзя».*

Елена сразу поняла Курнатовского и отозвалась о нем не совсем благосклонно. А между тем вникните в этот характер и припомните своих знакомых деловых людей, с честью подвизающихся для пользы общей; наверное многие из них окажутся хуже Курнатовского, а найдутся ли лучше – за это поручиться трудно. А все отчего? Именно оттого, что жизнь, среда не делает нас ни умными, ни честными, ни деятельными. И ум, и честность, и силы к деятельности мы должны приобретать из иностранных книжек, которые притом

нужно еще согласить и соразмерить со Сводом Законов. Не мудрено, что за этой трудной работой холодеет сердце, замирает все живое в человеке, и он превращается в автомата, мерно и неизменно совершающего то, что ему следует. И все-таки опять повторишь: это еще лучшие. Там, за ними, начинается другой слой: с одной стороны, совсем сонные Обломовы, уже окончательно потерявшие даже обаяние красноречия, которым пленяли барышень в былое время, с другой – деятельные Чичиковы, неусыпные, неустанные, героические в достижении своих узеньких и гаденьких интересцев. А еще дальше возвышаются Брусковы, Большовы, Кабановы, Уланбековы {8}, и все это злое племя предъявляет свои права на жизнь и волю русского люда... Откуда тут взяться героизму, а если и народится герой, так где набраться ему света и разума для того, чтобы не пропасть его силе даром, а послужить добру да правде? И если наберется наконец, то где уж геройствовать надломленному и надорванному, где уж грызть орехи беззубой белке? Лучше же и не обольщаться понапрасну, лучше выбрать себе какую-ни-

будь специальность, да и зарыться в ней, заглушая недостойное чувство невольной зависти к людям, живущим и знающим, зачем они живут.

Так и поступили в «Накануне» Шубин и Берсенеv. Шубин расходился было, узнавши о свадьбе Елены с Инсаровым, и начал: «Инсаров... Инсаров... К чему ложное смирение? Ну, положим, он молодец, он постоит за себя; да будто уж мы такая совершенная дрянь? Ну хоть я, разве дрянь? Разве бог меня так-таки всем и обидел?» и пр.... И тотчас же свернул бедняк на художество: «Может, – говорит, – и я со временем прославлюсь своими произведениями»... И точно – он стал работать над своим талантом, и из него замечательный ваятель выходит... И Берсенеv, добрый, самоотверженный Берсенеv, так искренно и радушно ходивший за больным Инсаровым, так великодушно служивший посредником между ним, своим соперником, и Еленой, – и Берсенеv, это золотое сердце, как выразился Инсаров, – не может удержаться от ядовитых размышлений, убедившись окончательно во взаимной любви Инсарова и Елены. «Пусть их! –

говорит он. – Недаром мне говаривал отец: мы о тобой, брат, не сибариты, не аристократы; не баловни судьбы и природы, мы даже не мученики, мы – труженики, труженики и труженики. Надевай же свой кожаный фартук, труженик, да становись за свой рабочий станок, в своей темной мастерской! А солнце пусть другим сияет. И в нашей глухой жизни есть своя гордость и свое счастье!» Каким адом зависти и отчаяния веют эти несправедливые попреки, – неизвестно кому и за что!.. Кто ж виноват во всем, что случилось? Не сами Берсенева? Нет, русская жизнь виновата: «Кабы были у нас путные люди, по выражению Шубина, не ушла бы от нас эта девушка, эта чуткая душа, не ускользнула бы, как рыба в воду». А людей путных или непутных делает жизнь, общий строй ее в известное время и в известном месте. Строй нашей жизни оказался таков, что Берсеневу только и осталось одно средство спасения: «Иссушать ум наукою бесплодной». Он так и сделал, и ученые очень хвалили, по словам автора, его сочинения: «О некоторых особенностях древнегерманского права в деле судебных наказаний»

и «О значении городского начала в вопросе цивилизации». И еще благо, что хоть в этом мог найти спасение...

Вот Елене – так не оставалось никакого ресурса в России после того, как она встрети-лась с Инсаровым и поняла иную жизнь. От-того-то она не могла ни остаться в России, ни возвратиться в нее одна, после смерти мужа. Автор очень хорошо умел понять это и пред-почел лучше оставить ее судьбу в неизвестно-сти, нежели вернуть ее под родительский кров и заставить доживать свои дни в родной Москве, в тоске одиночества и бездействия. Призыв родной матери, дошедший до нее по-чти в ту самую минуту, как она лишалась му-жа, не смягчил ее отворачивания от этой пош-лой, бесцветной бездейственной жизни. «Вер-нуться в Россию! Зачем? Что делать в Рос-сии?» – написала она матери и отправилась в Зару, чтобы потеряться в волнах восстания. И как хорошо, что она приняла эту решимость! Что в самом деле ожидало ее и России? Где для нее там цель жизни, где жизнь? Возвра-титься опять к несчастным котяткам и мухам, подавать нищим деньги, не ею выработан-



ные и бог знает как и почему ей доставшиеся, радоваться успехам в художестве Шубина, трактовать о Шеллинге с Берсеневым, читать матери «Московские ведомости» да видеть, как на общественной арене подвизаются *правила* в виде разных Курнатовских, – и нигде не видеть настоящего дела, даже не слышать веяния новой жизни... и понемногу, медленно и томительно вянуть, хиреть, замирать... Нет, уж если раз она попробовала другой жизни,дохнула другим воздухом, то легче ей броситься в какую угодно опасность, нежели осудить себя ца эту тяжелую пытку, на эту медленную казнь... И мы рады, что она избегла нашей жизни и не оправдала на себе эти безнадежно-печальные, раздирающие душу предвещения поэта, так постоянно и беспощадно оправдывающиеся над самыми лучшими, избранными натурами в России:

*Вдали от солнца и природы,  
Вдали от света и искусства,  
Вдали от жизни и любви  
Мелькнут твои молодые годы,  
Живые помертвеют чувства,  
Мечты развеются твои...*

*И жизнь твоя пройдет незрима  
В краю безлюдном, безымянном,  
На незамеченной земле, —  
Как исчезает облак дыма  
На небе тусклом и туманном,  
В осенней беспредельной мгле...{9}*

Нам остается свести отдельные черты, разбросанные в этой статье (за неполноту которой просим извинения у читателей), и сделать общее заключение.

Инсаров, как человек сознательно и всецело проникнутый великой идеей освобождения родины и готовый принять в ней деятельную роль, не мог развиваться и проявить себя в современном русском обществе. Даже Елена, так полно умевшая полюбить его и так слиться с его идеями, и она не может оставаться среди русского общества, хотя там — все ее близкие и родные. Итак, великим идеям, великим сочувствиям нет еще места среди нас?.. Все героическое, деятельное должно бежать от нас, если не хочет умереть от бездействия или погибнуть напрасно? Не так ли? Не таков ли смысл повести, разобранной нами?

Мы думаем, что нет. Правда, для широкой деятельности нет у нас открытого поприща; правда, наша жизнь проходит в мелочах, в плутнях, интрижках, сплетнях и подличанье; правда, наши гражданские деятели лишены сердца и часто крепколобы; наши умники палец об палец не ударят, чтобы доставить торжество своим убеждениям, наши либералы и реформаторы отправляются в своих проектах от юридических тонкостей, а не от стога и вопля несчастных братьев. Все это так. Но мы все-таки думаем, что *теперь* в нашем обществе есть уже место великим идеям и сочувствиям и что недалеко время, когда этим идеям можно будет проявиться на деле.

Дело в том, что как бы ни была плоха наша жизнь, но в ней уже оказалась возможность таких явлений, как Елена. И мало того что такие характеры стали возможны в жизни, они уже охвачены художническим сознанием, внесены в литературу, возведены в тип. Елена – лицо идеальное, но черты ее нам знакомы, мы ее понимаем, сочувствуем ей. Что это значит? То, что основа ее характера – любовь к страждущим и притесненным, желание де-

ательного добра, томительное искание того, кто бы показал, как делать добро – все это, наконец, чувствуется в лучшей части нашего общества. И чувство это так сильно и так близко к осуществлению, что оно уже не обольщается, как прежде, ни блестящим, но бесплодным умом и талантом, ни добросовестной, но отвлеченной ученостью, ни служебными добродетелями, ни даже добрым, великодушным, но пассивно-развитым сердцем. Для удовлетворения нашего чувства, нашей жажды, нужно более: нужен человек, как Инсаров, – но русский Инсаров.

На что ж он нам? Мы сами говорили выше, что нам не нужно героев-освободителей, что мы народ владетельный, а не порабощенный...

Да, извне мы ограждены, да если б и случилась внешняя борьба, то мы можем быть спокойны. У нас для военных подвигов всегда было довольно героев, и, в восторгах, какие доньше испытывают барышни от офицерской формы и усиков, можно видеть неоспоримое доказательство того, что общество наше умеет ценить этих героев. Но разве мало у

нас врагов внутренних? Разве не нужна борьба с ними и разве не требуется геройство для этой борьбы? А где у нас люди, способные к делу? Где люди цельные, с детства охваченные одной идеей, сжившиеся с ней так, что им нужно – или доставить торжество этой идее, или умереть? Нет таких людей, потому что наша общественная среда до сих пор не благоприятствовала их развитию. И вот от нее-то, от этой среды, от ее пошлости и мелочности и должны освободить нас новые люди, которых появления так нетерпеливо и страстно ждет все лучшее, все свежее в нашем обществе.

Трудно еще явиться такому герою: условия для его развития и особенно для первого проявления его деятельности – крайне неблагоприятны, а задача гораздо сложнее и труднее, чем у Инсарова. Враг внешний, притеснитель привилегированный гораздо легче может быть застигнут и побежден, нежели враг внутренний, рассеянный повсюду в тысяче разных видов, неуловимый, неуязвимый, а между тем тревожащий вас всюду, отравляющий всю жизнь вашу и не дающий вам ни от-

дохнуть, ни осмотреться в борьбе. С этим внутренним врагом ничего не сделаешь обыкновенным оружием; от него можно избавиться только переменявши сырую и туманную атмосферу нашей жизни, в которой он зародился, вырос и усилился, и обвеявши себя таким воздухом, которым он дышать не может.

Возможно ли это? Когда это возможно? Из этих вопросов можно отвечать категорически только на первый. Да, это возможно, и вот почему. Мы говорили выше о том, как наша общественная среда подавляет развитие личностей, подобных Инсарову. Но теперь мы можем сделать дополнение к своим словам: среда эта дошла теперь до того, что сама же и поможет явлению такого человека. Вечная пошлость, мелочность и апатия не могут же быть законным уделом человека, и люди, составляющие общественную среду нашу и закованные в ее условия, давно уже поняли всю тяжесть и нелепость этих условий. Одни скучают, другие рвутся всеми силами куда-нибудь, только бы избавиться от этого гнета. Разные исходы придумывались, разные средства упо-

треблялись, чтобы чем-нибудь оживить мерт-  
вость и гнилость нашей жизни; но все это бы-  
ло слабо и недействительно. Наконец теперь  
появляются уже такие понятия и требования,  
какие мы видим в Елене; требования эти при-  
нимаются обществом с сочувствием; мало то-  
го – они стремятся к деятельному осуществле-  
нию. Это значит, что уж старая общественная  
рутина отживает свой век; еще несколько ко-  
лебаний, еще несколько сильных слоев и бла-  
гоприятных фактов, и явятся деятели!

Выше мы заметили, что решимость и энер-  
гию сильной натуры убивает у нас еще в са-  
мом начале то идиллическое восхищение  
всем на свете, то расположение к ленивому  
самодовольству и сонному покою, которое  
встречает каждый из нас, еще ребенком, во  
всем окружающем и к которому его тоже ста-  
раются приучить всевозможными советами и  
наставлениями. Но в последнее время и это  
условие сильно изменилось. Везде и во всем  
заметно самосознание, везде понята несостоя-  
тельность старого порядка вещей, везде ждут  
реформ и исправлений, и никто уже не убаю-  
кивает своих детей песнею о том, какое непо-

стижимое совершенство представляет современный порядок дел в России. Напротив, теперь каждый ждет, каждый надеется, и дети теперь подрастают, напитываясь надеждами и мечтами лучшего будущего, а не привязываясь насильно к трупам отжившего прошлого. Когда придет их черед приняться за дело, они уже внесут в него ту энергию, последовательность и гармонию сердца и мысли, о которых мы едва могли приобрести теоретическое понятие.

Тогда и в литературе явится полный, резко и живо очерченный, образ русского Инсарова. И не долго нам ждать его: за это ручается то лихорадочное мучительное нетерпение, с которым мы ожидаем его появления в жизни. Он необходим для нас, без него вся наша жизнь идет как-то не в зачет, и каждый день ничего не значит сам по себе, а служит только кануном другого дня. Придет же он, наконец, этот день! И, во всяком случае, канун недалек от следующего за ним дня: всего-то какая-нибудь ночь разделяет их!..



# Примечания

**В**первые опубликовано в «Современнике», 1860, № III, отд. III, стр. 31–72, без подписи, под названием «Новая повесть г. Тургенева» («Накануне», повесть И. С. Тургенева, «Русский вестник», 1860, № 1–2). Перепечатано под названием «Когда же придет настоящий день?», с существеннейшими дополнениями и изменениями основного текста, особенно во второй части статьи, в Сочинениях Н. А. Добролюбова, т. III. СПб., 1862, стр. 275–331. Авторграф неизвестен.

Печатается в настоящем издании по тексту 1862 г., установленному Н. Г. Чернышевским на основании не дошедшей до нас рукописи и доцензурных типографских гранок. В текст этот внесены некоторые уточнения стилистического порядка, сделанные Добролюбовым в процессе правки корректур журнальной редакции статьи.

Первоначальная редакция статьи была запрещена цензором В. Бекетовым около 19 февраля 1860 г. в корректуре[8]. Добролюбов вынужден был сильно переработать статью,

но и в смягченном виде она не удовлетворила нового цензора Ф. Рахманинова, просматривавшего ее с 8 по 10 марта 1860 г. в гранках [9]. Добролюбову пришлось вновь приспособить свою статью к цензурным требованиям. Несмотря на все эти переработки, статья после напечатания привлекла внимание Главного управления цензуры, квалифицировавшего ее 18 июля 1860 г., а также другую работу Добролюбова «Заграничные прения о положении русского духовенства» и «Антропологический принцип в философии» Н. Г. Чернышевского как произведения, «потрясающие основные начала власти монархической, значение безусловного закона, семейное назначение женщины, духовную сторону человека и возбуждающие ненависть одного сословия к другому» [10]. Цензор Ф. Рахманинов, пропустивший статью, получил выговор.

И. С. Тургенев, познакомившийся со статьей Добролюбова о «Накануне» в ее доцензурной редакции, решительно высказался против ее напечатания: «Она кроме неприятностей ничего мне наделать не может, – писал Тургенев около 19 февраля 1860 г. Н. А.

Некрасову, – она несправедлива и резка – я не буду знать, куда бежать, если она напечатается»[11]. Некрасов пытался склонить Добролюбова к некоторым уступкам, но тот не соглашался. Тургенев также упорствовал в своем требовании. Поставленный перед необходимостью выбора, Некрасов опубликовал статью Добролюбова, и это послужило ближайшим поводом к уже назревшему разрыву Тургенева с «Современником».

Перепечатанная после смерти Добролюбова в третьем томе первого издания его сочинений с новым заглавием и с значительнейшими изменениями текста, статья «Когда же придет настоящий день?» именно в издании 1862 г. была воспринята современниками и вошла в сознание читательских поколений как документ, отразивший эстетический кодекс и политическую платформу революционной демократии. Но и в журнальном тексте статья Добролюбова резко выделялась на общем фоне критических отзывов современников о «Накануне»[12].

В разборе романа Добролюбов исходит прежде всего из необходимости выяснения

объективного смысла литературного произведения и считает невозможным сводить его содержание к отражению авторских идей и намерений. При этом, как показывает рассматриваемая статья, критик вовсе не склонен игнорировать замысел произведения и идейную позицию автора. Однако в центре его внимания не столько то, «что хотел сказать автор; сколько то, что *сказалось* им, хотя бы и ненамеренно, просто вследствие правдивого воспроизведения фактов жизни». Добролюбов относится с полным доверием к способности писателя-реалиста подчинять свое художественное воображение ходу самой жизни, умению «чувствовать и изображать жизненную правду явлений». Такой принцип критики поэтому не может быть применен к писателям, дидактически подчиняющим изображение современной действительности не логике жизненных фактов, а «заранее придуманной программе».

Роман Тургенева открывал широкую возможность для формулировки политических задач, которые объективно вытекали из созданной автором картины русской жизни, хо-

тя могли и не совпадать с его личными общественными стремлениями. Главную политическую задачу современности критик увидел в необходимости переменить «сырую и туманную атмосферу нашей жизни» силами русских Инсаровых, борцов не против внешнего угнетения, а против внутренних врагов. В этих прозрачных иносказаниях нетрудно было увидеть призыв к народной революции, во главе которой должны стать мужественные у убежденные руководители, подобные тургеневскому Инсарову.

Но не только в «Накануне» видел Добролюбов у Тургенева «живое отношение к современности». Чуткость «к живым струнам общества» и «верный такт действительности» Добролюбов находил во всем творчестве Тургенева – в частности, в его трактовке «лишних людей». Пассивные, раздвоенные, рефлектирующие, не знающие «что делать», при всех отрицательных свойствах, они были для него (как и для Тургенева) «просветителями, пропагандистами – хоть для одной женской души, да пропагандистами»[13]. Добролюбов с сочувствием отметил разнообразие

этих лиц, каждое из которых «было смелее и полнее предыдущих». Особенно интересно в этой связи истолкование образа Лаврецкого, в котором Добролюбов видел «что-то законно-трагическое, а не призрачное», потому что этот герой столкнулся с мертвящей силой религиозных догматов или, говоря эзоповым языком Добролюбова, «целого огромного отдела понятий, заправляющих нашей жизнью». При этом не только программная сторона творчества Тургенева привлекала Добролюбова, а и то, что он назвал «общим строем» тургеневского повествования, «чистое впечатление», производимое его повестями, сложное и тонкое сочетание в них мотивов разочарования, падения с «младенческим упоением жизнью», их особенное ощущение, которое было одновременно «и грустно, и весело»[14].

Роман о «новых людях» Добролюбов представлял себе не только как лирическое повествование об их личной жизни. Личная жизнь героев, по идее Добролюбова, должна войти составным элементом в такое повествование, где герой представал бы перед чита-

телем одновременно и как частный человек и как гражданский борец, стоящий лицом к лицу «с партиями, с народом, с чужим правительством, со своими единомышленниками, с вражеской силой». Такой роман Добролюбов представлял себе как «героическую эпопею» и Тургенева считал неспособным создать ее. Его сфера – не борьба, а лишь «сборы на борьбу» – об этом Добролюбов сказал в самом начале статьи. Между тем в личности Инсарова, в его характере, в его натуре он находил именно те черты, которые пристали подлинному герою современной эпопеи.

Любопытно, что эти черты Добролюбов заметил сам задолго до выхода в свет «Накануне», причем сделал это в полемике с Тургеневым. Так, в статье «Николай Владимирович Станкевич» («Современник», 1858, № IV) Добролюбов выступил против тургеневской морали «долга» и «отречения», выраженной в повести «Фауст»[15]. Людям старого поколения, понимающим долг как нравственные вериги, как следование «отвлеченному принципу, который они принимают без внутреннего сердечного участия», Добролюбов проти-

вопоставил сторонников новой морали, тех, кто «заботится слить требования долга с потребностями внутреннего существа своего». В другой статье – «Литературные мелочи прошлого года» («Современник», 1859, № I) Добролюбов вновь развернул антитезу «отвлеченных принципов» и живого, внутреннего влечения и снова положил ее в основу сравнительной характеристики старого и молодого поколений. Разрабатывая идейный и психологический портрет «новых людей», пришедших на смену рыцарям «отвлеченных принципов», Добролюбов видел в современных деятелях людей «с крепкими нервами и здоровым воображением», отличающихся спокойствием и тихой твердостью». «Вообще, – писал он, – молодое действующее поколение нашего времени не умеет блеснуть и шуметь. В его голосе нет, кажется, кричащих нот, хотя есть звуки очень сильные и твердые».

Теперь, в статье «Когда же придет настоящий день?», характеризуя Инсарова, Добролюбов нашел в нем те самые черты, о которых он писал в свое время, говоря о «молодом действующем поколении», любовь к родине и



к свободе у Инсарова «не в рассудке, не в сердце, не в воображении, она у него в организации», «он будет делать то, к чему влечет его натура», притом «совершенно спокойно, без натяжек и фанфаронад, так же просто, как ест и пьет» и т. д. Отмечая с глубоким сочувствием новые черты тургеневского героя, Добролюбов ясно видел, что в данном случае «охвачены художественным сознанием, внесены в литературу, возведены в тип» действительно существующие в жизни явления и характеры, распознанные ранее им самим и увиденные на русской почве. У Тургенева же Инсаров только дружески близок к русским людям, но сложился как тип не в условиях русской жизни.

Это связано было с тургеневским пониманием соотношения человека и среды, и вопрос этот вновь приводил Добролюбова к полемике с автором «Накануне». В статье «Благонамеренность и деятельность», опубликованной четыре месяца спустя после статьи «Когда же придет настоящий день?», Добролюбов выступил против «тургеневской школы» с ее постоянным мотивом «среда заедает

человека». У Тургенева человек бессилен против исторических обстоятельств, он подавлен суровой властью социальной среды и потому не способен к борьбе с условиями, угнетающими передовых людей России. Критика тургеневского фатализма среды, подробно развернутая в статье «Благонамеренность и деятельность», налицо и в комментируемой работе. Вопрос о соотношении человека и среды Добролюбов ставит диалектически: те же самые условия, которые делают невозможным появление «новых людей», на известной ступени развития сделают их появление неизбежным. Теперь эта ступень в России достигнута: «Мы говорили выше, что наша общественная среда подавляет развитие личностей, подобных Инсарову. Но теперь мы можем сделать дополнение к своим словам: среда эта дошла теперь до того, что сама же поможет явлению такого человека», — этими словами Добролюбов намекал на то, что в России уже подготовлена почва для революционного действия. Всякую иную тактику в условиях 1860 г. Добролюбов считал либеральным донкихотством, и это опять-таки

звучало полемически по отношению к Тургеневу, который в речи «Гамлет и Дон Кихот», опубликованной за два месяца до статьи Добролюбова о «Накануне», усмотрел черты донкихотства в людях борьбы и беззаветной убежденности, в «энтузиастах» и «служителях идеи». Как бы высоко ни ставил Тургенев людей донкихотского склада, он все же считал, что они сражаются с ветряными мельницами и не достигают своих целей. Поэтому Добролюбов отклонил от себя и своих единомышленников кличку Дон Кихота и вернул ее Тургеневу и сторонникам теории «заедающей среды»[16].

Быть может, именно полемическая направленность статьи Добролюбова против многих взглядов Тургенева и была воспринята писателем как несправедливость и резкость. Во всяком случае ни общий анализ романа, ни высокая оценка реалистической силы тургеневского искусства не давали повода к такому пониманию добролюбовской статьи. Что же касается «неприятностей», которых опасался Тургенев, то, видимо, по его предположению, они могли возникнуть для него из-

за тех революционных выводов, которые извлек Добролюбов из анализа «Накануне». В первоначальной редакции статьи эти выводы были еще более резкими и ясными. Но и в журнальном тексте, а тем более в тексте собрания сочинений революционный смысл статьи был ясно понят как современниками, так и читателями последующих поколений, прежде всего деятелями освободительного движения.

Так, П. Л. Лавров в статье «И. С. Тургенев и русское общество», помещенное в «Вестнике Народной воли», 1884, № 2, говоря о росте революционного движения в семидесятых годах, по сравнению с предшествующим периодом, остановился на статье Добролюбова. «Русские Инсаровы, – писал он, – люди «сознательно и всецело проникнутые великой идеей освобождения родины и готовые принять в ней деятельную роль», получили возможность «проявить себя в современном русском обществе» (Соч. Добролюбова, III, 320). Новые Елены не могли уже сказать: «Что делать в России?» Они наполняли тюрьмы. Они шли в каторгу»[17].

В. И. Засулич в статье по поводу сорокалетия смерти Добролюбову («Искра», 1901, № 13) отметила, что в критическом разборе «Накануне» Добролюбову удалось «написать с недопускающей сомнений ясностью свое революционное завещание подрастающей молодежи образованных классов»[18]. В том же номере «Искры» была помещена статья В. И. Ленина «Начало демонстраций». В ней В. И. Ленин, коснувшись Добролюбова, сказал о том, что «всей образованной и мыслящей России дорог писатель, страстно ненавидевший произвол и страстно ждавший народного восстания против «внутренних турок» – против самодержавного правительства»[19]. Важно, что в этой общей характеристике Добролюбова как революционного писателя В. И. Ленин опирался на статью «Когда же придет настоящий день?», откуда взята и формула «внутренние турки».

# Сноски

## 1

Бей в барабан и не бойся! *(нем.)*. – *Ред.*

[^^^]

## 2

Как это красиво, как очаровательно!  
*(франц.)*. – *Ред.*

[^^^]

Нас уже упрекали однажды в пристрастии к молодому поколению и указывали на пошлость и пустоту, которой оно предается в большей части своих представителей. Но мы никогда и не думали отстаивать всех молодых людей огулом, да это и не согласно было бы с нашей целью. Пошлость и пустота составляют достояние всех времен и всех возрастов. Но мы говорили и теперь говорим о людях избранных, людях лучших, а не о толпе, так как и Рудин и все люди его закала принадлежали ведь не к толпе же, а к лучшим людям своего времени. Впрочем, мы не будем неправы, если скажем, что и в массе общества уровень образования в последнее время все-таки возвысился.

[^^^]

Против этой мысли может, по-видимому, свидетельствовать необыкновенный успех, которым встречаются издания сочинений некоторых наших писателей сороковых годов. Особенно ярким примером может служить Белинский, которого сочинения быстро разошлись, говорят, в количестве 12 000 экземпляров. Но, по нашему мнению, этот самый факт служит лучшим подтверждением нашей мысли. Белинский был передовой из передовых, дальше его не пошел ни один из его сверстников, и там, где расхватаю в несколько месяцев 12 000 экземпляров Белинского, Рудиным просто уже делать нечего. Успех Белинского, доказывает вовсе не то, что его идеи еще новы для нашего общества и требуют больших усилий для распространения, а именно то, что они дороги и святы теперь для большинства и что их проповедание теперь уже не требует от новых деятелей ни героизма, ни особенных талантов.



Есть люди, которых воображение до того засалено и развращено, что в этой прелестной, чистой и глубоко-нравственной сцене полного, страстного слияния двух любящих существ они увидят только материал для сладострастных представлений. Судя обо всех по себе, они возопиют даже, что эта сцена может иметь дурное влияние на нравственность, ибо возбуждает нечистые мысли. Но пусть их вопиют: ведь есть люди, которые и при виде Венеры Милосской ощущают лишь чувственное раздражение и при взгляде на Мадонну говорят с приапической улыбкой: «А она... того... годится»... Но не для этих людей – искусства и поэзия, да не для них и истинная нравственность. В них все претворяется во что-то отвратительно-нечистое. Но дайте прочитать эти же сцены невинной, чистой сердцем девушке, и, поверьте, – ничего, кроме самых светлых и благородных помыслов, не вынесет она из этого чтения.

## 6

легальная оппозиция (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

## 7

светские приличия (*франц.*). – *Ред.*

[^^^]

## 8

См. письмо В. Н. Бекетова к Добролюбову от 19 февраля 1860 г. с отказом «пропустить ее в том виде, как она составлена». – «Заветы», 1913, № 2, стр. 96.

[^^^]

Гранки эти сохранились в бумагах А. Н. Пыпина (Институт русской литературы АН СССР). Их подробная характеристика дана Н. И. Мордовченко в разделе вариантов Полн. собр. соч. Н. А. Добролюбова в шести томах, т. 2. М., 1935, стр. 652–657» О дискуссионности в данном случае текста 1862 г. см. наши соображения в статье «Старые и новые издания сочинений Добролюбова» (наст. изд. стр. 555–556), а также заметки М. Я. Елинчевской «Статья Н. А. Добролюбова “Когда же придет настоящий день?”» («Русская литература», 1965, № 1, стр. 90–97).

[^^^]

## 10

Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. 2. М., 1935.

[^^^]

## 11

И. С. Тургенев. Полн. собр. соч. Письма, т. IV. М., 1962, стр. 41.

[^^^]

## 12

Обзор отзывов о «Накануне» см. в примечаниях И. Г. Ямпольского к статье Добролюбова: Н. А. Добролюбов. Полн. собр. соч., т. 2, 1935, стр. 685–688. Ср. Г. В. Курляндская. Романы И. С. Тургенева 50-х – начала 60-х годов. – «Ученые записки Казанского университета», т. 116, кн. 8, 1956, стр. 107–113.

[^^^]

## 13

Характерны строки М. Горького о Рудине: «Мечтатель – он является пропагандистом идей революционных...» (М. Горький. История русской литературы. М., ГИХЛ, 1939, стр. 176).

[^^^]

## 14

М. Е. Салтыков-Щедрин в письме к П. В. Анненкову от 3 февраля 1859 г. заявлял по поводу «Дворянского гнезда»: «Да и что можно сказать обо всех вообще произведениях Тургенева? То ли, что после прочтения их легко дышится, легко верится, тепло чувствуется? Что ощущаешь явственно, как общий уровень в тебе поднимается, что мысленно благословляешь и любишь автора? <...> Я давно не был так потрясен, но чем именно – не могу дать себе отчета. Думаю, что ни тем, ни другим, ни третьим, а общим строем романа» (М. Е. Салтыков (Н. Щедрин). Полн. собр. соч., т. 18. Л.,

[^^^]

## 15

Об этом см.: Н. И. Мордовченко. Добролюбов в борьбе с либерально-дворянской литературой. – «Известия Академии наук СССР» Отделение общественных наук», 1936, № 1–2, стр. 245–250.

[^^^]

## 16

См. Ю. Г. Оксман. Тургенев и Герцен в полемике о политической сущности образов Гамлета и Дон Кихота. – «Научный ежегодник Саратовского университета». Филологический факультет, 1958, отд. III, стр. 25–29, а также: Ю. Д. Левин. Статья И. С. Тургенева «Гамлет и Дон Кихот». К вопросу о полемике Добролюбова и Тургенева. – «Н. А. Добролюбов. Статьи и материалы». Ответ. редактор Г. В. Краснов. Горький, 1965, стр 122–163.

[^^^]

## 17

См. «И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», М. – Л., «Academia», 1930, стр. 31–32.

[^^^]

## 18

В. И. Засулич. Статьи о русской литературе. М., ГИХЛ, 1960, стр. 262. См. там же, стр. 249 о статье «Когда же придет настоящий день?» как о лучшей работе Добролюбова, «всего полнее обрисовывающей самого автора, его настроение, его неудовлетворенную потребность в новых людях и тревожную надежду на их появление».

[^^^]

В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. V, стр. 370.

[^^^]

[^^^]



# Комментарии

## 1

Эпиграфом к статье взята первая строчка стихотворения Г. Гейне «Doktrin», которая должна была напомнить читателю все стихотворение. Приводим его в переводе А. Н. Плещеева (1846):

*Возьми барабан и не бойся,  
Целуй маркитантку звучней!  
Вот смысл глубочайший искусства,  
Вот смысл философии всей)*

*Сильнее стучи, и тревогой  
Ты спящих от сна пробуди!  
Вот смысл глубочайший искусства...  
А сам маршируй впереди!*

*Вот Гегель! Вот книжная мудрость!  
Вот дух философских начал!  
Давно я постиг эту тайну,*

Добролюбов очень ценил этот перевод и последние две его строфы процитировал в рецензии на «Песни Гейне в переводе М. Л. Михайлова» («Современник», 1858, № V).

В журнальном тексте эпиграф отсутствовал.

[^^^]

## 2

Речь идет, по-видимому, о критике С. С. Дудышкине, который в связи с выходом «Повестей и рассказов» И. С. Тургенева (1856) писал о том, что разбор этих повестей «объясняет прежде всего *все колебания и изменения в самом взгляде на жизнь*» («Отеч. записки», 1857, № 1, Критика и библиография, стр. 2. Курсив наш).

В излишнем пристрастии к живым вопросам современности упрекал Тургенева и А. В. Дружинин: «Быть может, – писал он, – г. Тургенев даже во многом ослабил свой талант,

жертвуют современности и практическим идеям эпохи» («Библиотека для чтения», 1857, № 3. Критика, стр. 30). Слова, взятые в тексте Добролюбова в кавычки, являются обобщением суждений о Тургеневе критиков либерально-дворянского лагеря, а не точной цитатой.

[^^^]

### 3

Берсенева имел в виду Т. Н. Грановского.

[^^^]

## 4

Добролюбов намекает на то, что по цензурным условиям можно говорить о национально-освободительной борьбе любого народа, кроме тех, которые, как поляки, угнетены русским самодержавием.

[^^^]

## 5

С. М. Соловьев в своих исторических трудах всегда отрицательно оценивал народные движения, видя в них угрозу целостности русского государства. Очевидно, здесь Добролюбов имеет в виду статью С. М. Соловьева «Малороссийское казачество до Хмельницкого» («Русский вестник», 1859, № 2).

[^^^]

В этой истории отразились некоторые факты бурной биографии И. И. Паржницкого, товарища Добролюбова по Педагогическому институту. Из института он перешел в Медико-хирургическую академию, откуда за нарушение дисциплины был сослан фельдшером на далекую окраину. Затем поступил в Казанский университет, но был исключен и оттуда. Уехал за границу, поступил в Берлинский университет. Сохранились сведения о его участии в Польском восстании 1863 г. См. М. И. Шемановский. Воспоминания о жизни в Главном педагогическом институте 1853–1857 годов. – В кн.: «Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников». М. – Л., 1961, стр. 59–69, а также в комментариях С. А. Рейсера, там же, стр. 427–428.

[^^^]

Добролюбов использует здесь анонимное политическое обозрение в «Московском вестнике» от 9 января 1860 г., № 1: «В Северо-Американских Штатах антагонизм Севера и Юга, аболиционистов и приверженцев рабства разыгрался по поводу предприятия Брауна, возмущившего невольников в Виргинии. Эта насильственная и незаконная попытка решить вопрос о невольничестве не имела успеха; Браун был казнен, и аболиционисты высказали свое неодобрение его поступку, признали необходимость поддерживать рабство негров ради единства федерации. Таким образом Браун скорее повредил тому делу, которому пожертвовал своею жизнью и которое может быть решено только легальным путем» (стр. 9).

[^^^]

## 8

Добролюбов называет персонажей комедий А. Н. Островского: Брусков – ««В чужом пиру похмелье», Большов – «Свои люди – сочтемся», Кабанова – «Гроза», Уланбекова – «Воспитанница».

[^^^]

## 9

Добролюбов приводит стихотворение Ф. И. Тютчева «Русской женщине» (первоначальное заглавие – «Моей землячке»). В издании «Стихотворений Ф. Тютчева» (1854), которым пользовался Добролюбов, текст этот не имел названия.

[^^^]

[^^^]